

Константин Петрович Победоносцев

(1827–1907)



**Обер-прокурор Святейшего
Синода К. П. Победоносцев.
С.-Петербург. Начало XX в.
Фотограф Л. Левицкий**

занимал особое место среди государственных деятелей России конца XIX в. Оно определялось не его служебным постом обер-прокурора Святейшего Синода, который он занимал с 1880 по 1905 гг. Он вошел в историю прежде всего как духовный наставник и идейный руководитель двух последних самодержцев — Александра III и Николая II. Будучи в числе преподавателей как одного, так и другого,

К. П. Победоносцев оказал огромное влияние на формирование их мышления и мировоззрения (особенно отца).

После гибели Александра II от рук народовольцев он почти два десятилетия оставался главным вдохновителем государственной политики, целью которой было сохранить прежние устои старой России.

Один из умнейших и образованнейших людей своей эпохи, Победоносцев осознавал невозможность остановить поступательный ход времени, хотя до конца сохранил верность тем принципам, которые отстаивал всю свою долгую жизнь. Видимо, этим и объясняется тот глубокий пессимизм, которым проникнуты его размышления об окружающей действительности.

С годами влияние Победоносцева на его царственных учеников постепенно слабело. Когда же манифест 17 октября 1905 г. возвестил о введении в России ненавистного ему "представительного правления" (он называл парламентаризм "великой ложью нашего времени"), наставник двух императоров понял, что пора уходить вместе с эпохой, и покинул свой пост.

В жизни у Победоносцева было много врагов, которые резко осуждали и его взгляды, и его практическую деятельность. Но даже большинство из них отдавало ему дань уважения за редкое бескорыстие, искренность, нетерпимость ко лжи, скромность, доходящую до аскетизма. Он часто пользовался своим огромным влиянием, чтобы помочь другим людям, зачастую ему совершенно не знакомым, но никогда не злоупотреблял им для себя.

ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

I

Что основано на лжи, не может быть право. Учреждение, основанное на ложном начале, не может быть иное, как лживое. Вот истина, которая оправдывается горьким опытом веков и поколений.

Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Она продолжает еще держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь ее с каждым днем изобличается все явственнее перед целым миром.

В чем состоит теория парламентаризма? Предполагается, что весь народ в народных собраниях творит себе законы, избирает должностные лица, стало быть, изъявляет непосредственно свою волю и проводит ее в действие. Это идеальное представление. Прямое осуществление его невозможно: историческое развитие общества приводит к тому, что местные союзы умножаются и усложняются, отдельные племена сливаются в целый народ или группируются в разноязычные под одним государственным знаменем, наконец, разрастается без конца государственная территория: непосредственное народоправление при таких условиях невыносимо. Итак, народ должен переносить свое право властительства на некоторое число выборных людей и облекать их правительственной автономией. Эти выборные люди, в свою очередь, не могут править непосредственно, но принуждены выбирать еще меньшее число доверенных лиц – министров, коим предоставляется изготовление и применение законов, раскладка и собирание податей, назначение подчиненных должностных лиц, распоряжение военною силою.

Механизм – в идее своей стройный; но, для того чтобы он действовал, необходимы некоторые существенные условия. Машинное производство имеет в основании своем расчет на непрерывно действующие и совершенно равные, следовательно, безличные силы. И этот механизм мог бы успешно действовать, когда бы доверенные от народа лица устранились вовсе от своей личности; когда бы на парламентских скамьях сидели механические исполнители данного им наказа; когда бы министры явились тоже безличными, механическими исполнителями воли большинства; когда бы притом представителями народа избираемы были всегда лица, способные уразуметь в точности и исполнять добросовестно данную им и математически точно выраженную программу действий. Вот при таких условиях действительно машина работала бы исправно и достигла бы цели. Закон действительно выдержал бы волю народа; управление действительно исходило бы от парламента; опорная точка государственного здания лежала бы действительно в собраниях избирателей, и каждый гражданин явно и сознательно, участвовал бы в правлении общественными делами.

Такова теория. Но посмотрим на практику. В самых классических странах парламентаризма она не удовлетворяет ни одному из вышепоказанных условий. Выборы никоим образом не выражают волю избирателей. Представители народные не стесняются взглядами и мнениями избирателей, но руководятся собственным произвольным усмотрением или расчетом, соображаемым с

тактикою противной партии. Министры в действительности самовластны; и скорее, они насилуют парламент, нежели парламент их насилует. Они вступают во власть и оставляют власть не в силу воли народной, но потому, что их ставит к власти или устраняет от нее могущественное личное влияние или влияние сильной партии. Они располагают всеми силами и достатками нации по своему усмотрению, раздают льготы и милости, содержат множество праздных людей на счет народа, – и притом не боятся никакого порицания, если располагают большинством в парламенте, а большинство поддерживают – раздачей всякой благодати с обильной трапезы, которую государство отдало им в распоряжение. В действительности министры столь же безответственны, как и народные представители. Ошибки, злоупотребления, произвольные действия – ежедневное явление в министерском управлении, а часто ли слышим мы о серьезной ответственности министра? Разве, может быть, раз в пятьдесят лет приходится слышать, что над министром суд, и всего чаще результат суда выходит ничтожный – сравнительно с шумом торжественного производства.

Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей. Учреждение это служит не последним доказательством самообольщения ума человеческого. Испытывая в течение веков гнет самовластия в единоличном и олигархическом правлении и не замечая, что пороки единовластия суть пороки самого общества, которое живет под ним, – люди разума и науки возложили всю вину бедствия на своих властителей и на форму правления, и представили себе, что с переменою этой формы на форму народовластия или представительного правления общество избавится от своих бедствий и от терпимого насилия. Что же вышло в результате? Вышло то, что *mutato nomine* [1] все осталось в сущности прежнему, и люди, оставаясь при слабостях и пороках своей природы, перенесли на новую форму все прежние свои привычки и склонности. Как прежде, правит ими личная воля и интерес привилегированных лиц; только эта личная воля осуществляется уже не в лице монарха, а в лице предводителя партии, и привилегированное положение принадлежит не родовым аристократам, а господствующему в парламенте и правлении большинству.

На фронтоне этого здания красуется надпись: "Все для общественного блага". Но это не что иное, как самая лживая формула; парламентаризм есть торжество эгоизма, высшее его выражение. Все здесь рассчитано на служение своему я. По смыслу парламентской фракции, представитель отказывается в своем звании от личности и должен служить выражением воли и мысли своих избирателей; а в действительности избиратели – в самом акте избрания отказываются от всех своих прав в пользу избранного представителя. Перед выборами кандидат, в своей программе и в речах своих, ссылается постоянно на вышеупомянутую фикцию: он твердит все о благе общественном, он не что иное, как слуга и печальник народа, он о себе не думает и забудет себя и свои интересы ради интереса общественного. И все это – слова, слова, одни слова, временные ступеньки лестницы, которые он строит, чтобы взойти куда нужно и потом сбросить ненужные ступени. Тут уже не он станет работать на общество, а общество станет орудием для его целей. Избиратели являются для него стадом – для сбора голосов, и владельцы этих стад подлинно уподобляются богатым кочевникам, для коих стадо составляет капитал, основание могущества и знатности в обществе. Так развивается, совершенствуясь, целое искусство играть инстинктами и страстями массы для того, чтобы достигнуть личных целей честолюбия и власти. Затем уже эта масса теряет всякое значение для выбранного ею представителя до тех пор, пока понадобится снова на нее

действовать: тогда пускаются в ход снова льстивые и лживые фразы, – одним в угоду, в угрозу другим; длинная, нескончаемая цепь однородных маневров, образующая механику парламентаризма. И такая-то комедия выборов продолжает до сих пор обманывать человечество и считаться учреждением, венчающим государственное здание... Жалкое человечество! Поистине можно сказать: *mundus vult decipi – decipi piatur* [2].

Вот как практикуется выборное начало. Честолюбивый искатель сам выступает перед согражданами и старается всячески уверить их, что он, более чем всякий иной, достоин их доверия. Из каких побуждений выступает он на это искательство? Трудно поверить, что из бескорыстного усердия к общественному благу. Вообще, в наше время редки люди, проникнутые чувством солидарности с народом, готовые на труд и самопожертвование для общего блага: это – натуры идеальные; а такие натуры не склонны к соприкосновению с пошлостью житейского быта. Кто по натуре своей способен к бескорыстному служению общественной пользе в сознании долга, тот не пойдет заискивать голоса, не станет воспевать хвалу себе на выборных собраниях, нанизывая громкие и пошлые фразы. Такой человек раскрывает себя и силы в рабочем углу своем или в тесном кругу единомышленных людей, но не пойдет искать популярности на шумном рынке. Такие люди, если идут в толпу людскую, то не затем, чтобы льстить ей и подлаживаться под пошлые ее влечения и инстинкты, а разве затем, чтобы обличать пороки людского быта и ложь людских обычаев. Лучшим людям, людям долга и чести противна выборная процедура: от нее не отвращаются лишь своекорыстные, эгоистичные натуры, желающие достигнуть личных своих целей. Такому человеку не стоит труда надеть на себя маску стремления к общественному благу, лишь бы приобрести популярность. Он не может и не должен быть скромн, – ибо при скромности его не заметят, не станут говорить о нем. Своим положением и тою ролью, которую берет на себя, он вынуждается лицемерить и лгать: с людьми, которые противны ему, он поневоле должен сходить, брататься, любезничать, чтобы приобрести их расположение, – должен раздавать обещания, зная, что потом не выполнит их, должен подлаживаться под самые пошлые наклонности и предрассудки массы, для того чтоб иметь большинство за себя. Какая честная натура решится принять на себя такую роль? Изобразите ее в романе: читателю противно станет; но тот же читатель отдаст свой голос на выборах живому артисту в той же самой роли.

Выборы – дело искусства, имеющего, подобно военному искусству, свою стратегию и тактику. Кандидат не состоит в прямом отношении к своим избирателям. Между ним и избирателями посредствует комитет, самочинное учреждение, коего главною силою служит – нахальство. Искатель представительства, если не имеет еще сам по себе известного имени, начинает с того, что подбирает себе кружок приятелей и споспешников; затем все вместе производят около себя ловлю, то есть приискивают в местной аристократии богатых и не крепких разумом обывателей, и успевают уверить их, что это их дело, их право и преимущество стать во главе – руководителями общественного мнения. Всегда находится достаточно глупых или наивных людей, поддающихся на эту удочку, – и вот, за подписью их, появляется в газетах и наклеивается на столбах объявление, привлекающее массу, всегда падкую на следование за именами, титулами и капиталами. Вот каким путем образуется комитет, руководящий и овладевающий выборами – эта своего рода компания на акциях, вызванная к жизни учредителями. Состав комитета подбирается с обдуманном искусством: в нем одни служат действующею силой – люди энергические, преследующие во что бы ни стало – материальную или тенденциозную цель; другие – наивные и легкомысленные статисты – составляют балласт.

Организуются собрания, произносятся речи: здесь тот, кто обладает крепким голосом и умеет быстро и ловко нанизывать фразы, производит всегда впечатление на массу, получает известность, награждается кандидатом для будущих выборов, или, при благоприятных условиях, сам выступает кандидатом, сталкивая того, за кого пришел вначале работать языком своим. Фраза – и ни что иное, как фраза – господствует в этих собраниях. Толпа слушает лишь того, кто громче кричит и искуснее подделывается пошлостью и лестью под ходячие в массе понятия и наклонности.

В день окончательного выбора лишь немногие подают голоса свои сознательно: это отдельные влиятельные избиратели, коих стоило уговаривать по одиночке. Большинство, т.е. масса избирателей дает свой голос стадным обычаем, за одного из кандидатов, выставленных комитетом. На билетах пишется то имя, которое всего громче натвержено и звенело в ушах у всех в последнее время. Никто почти не знает человека, не дает себе отчета ни о характере его, ни о способностях, ни о направлении: выбирают потому, что много наслышаны об его имени. Напрасно было бы вступать в борьбу с этим стадным порывом. Положим, какой-нибудь добросовестный избиратель пожелал бы действовать сознательно в таком важном деле, не захотел бы подчиниться насильственному давлению комитета. Ему остается – или уклониться вовсе в день выбора, или подать голос за своего кандидата по своему разумению. Как бы ни поступил он, – все-таки выбран будет тот, кого провозгласила масса легкомысленных, равнодушных или уговоренных избирателей.

По теории, избранный должен быть излюбленным человеком большинства, а на самом деле избирается излюбленный меньшинства, иногда очень скудного, только это меньшинство представляет организованную силу, тогда как большинство, как песок, ничем не связано, и потому бессильно перед кружком или партией. Выбор должен бы падать на разумного и способного, а в действительности падает на того, кто нахальнее суется вперед. Казалось бы, для кандидата существенно требуется – образование, опытность, добросовестность в работе: а в действительности все эти качества могут быть и не быть: они не требуются в избирательной борьбе, тут важнее всего – смелость, самоуверенность в соединении с ораторством и даже с некоторою пошлостью, нередко действующею на массу. Скромность, соединенная с тонкостью чувства и мысли, – для этого никуда не годится.

Так нарождается народный представитель, так приобретает его полномочие. Как он употребляет его, как им пользуется? Если натура у него энергическая, он захочет действовать и принимается образовывать партию; если он заурядной натуры, то сам примыкает к той или другой партии. Для предводителя партии требуется прежде всего сильная воля. Это свойство органическое, подобно физической силе, и потому не предполагает непременно нравственные качества. При крайней ограниченности ума, при безграничном развитии эгоизма и самой злобы, при низости и бесчестности побуждений, человек с сильною волей может стать предводителем партии и становится тогда руководящим, господственным главою кружка или собрания, хотя бы к нему принадлежали люди, далеко превосходящие его умственными и нравственными качествами. Вот какова, по свойству своему, бывает руководящая сила в парламенте. К ней присоединяется еще другая решительная сила – красноречие. Это – тоже натуральная способность, не предполагающая ни нравственного характера, ни высокого духовного развития. Можно быть глубоким мыслителем, поэтом, искусным полководцем, тонким юристом, опытным законодателем – и в то же время быть лишенным действенного слова; можно, при самых заурядных умственных способностях и знаниях, обладать особливим даром красноречия.

Соединение этого дара с полнотою духовных сил – есть редкое и исключительное явление в парламентской жизни. Самые блестящие импровизации, прославившие ораторов и соединенные с важными решениями, кажутся бледными и жалкими в чтении, подобно описанию сцен, разыгранных в прежнее время знаменитыми актерами и певцами. Опыт свидетельствует непререкаемо, что в больших собраниях решительное действие принадлежит не разумному, но бойкому и блестящему слову, что всего действительнее на массу – не ясные, стройные аргументы, глубоко коренящиеся в существе дела, но громкие слова и фразы, искусно подобранные, усиленно натверженные и рассчитанные на инстинкты гладкой пошлости, всегда таящиеся в массе. Масса легко увлекается пустым вдохновением декламации и, под влиянием порыва, часто бессознательного, способна приходить к внезапным решениям, о коих приходится сожалеть при хладнокровном обсуждении дела.

Итак, когда предводитель партии с сильною волей соединяет еще и дар красноречия, – он выступает в своей первой роли на открытую сцену перед целым светом. Если же у него нет этого дара, он стоит, подобно режиссеру, за кулисами и направляет оттуда весь ход парламентского представления, распределяя роли, выпуская ораторов, которые говорят за него, употребляя в дело по усмотрению – более тонкие, но нерешительные умы своей партии: – они за него думают.

Что такое парламентская партия? По теории, – это союз людей одинаково мыслящих и соединяющих свои силы для совокупного осуществления своих воззрений в законодательстве и в направлении государственной жизни. Но таковы бывают разве только мелкие кружки: большая, значительная в парламенте партия образуется лишь под влиянием личного честолюбия, группируясь около одного господствующего лица. Люди, по природе, делятся на две категории: одни – не терпят над собою никакой власти, и потому необходимо стремятся господствовать сами; другие, по характеру своему, страшась нести на себе ответственность, соединенную со всяким решительным действием, уклоняются от всякого решительного акта воли: эти последние как бы рождены для подчинения и составляют из себя стадо, следующее за людьми воли и решения, составляющими меньшинство. Таким образом, люди самые талантливые подчиняются охотно, с радостью складывая в чужие руки направление своих действий и нравственную ответственность. Они как бы инстинктивно "ищут вождя" и становятся послушными его орудиями, сохраняя уверенность, что он ведет их к победе – и, нередко, к добыче.

Итак, все существенные действия парламентаризма отправляются вождями партий: они ставят решения, они ведут борьбу и празднуют победу. Публичные заседания суть не что иное как представление для публики. Произносятся речи для того, чтобы поддержать фикцию парламентаризма: редкая речь вызывает, сама по себе, парламентское решение в важном деле. Речи служат к прославлению ораторов, к возвышению популярности, к составлению карьеры, – но в редких случаях решают подбор голосов. Каково должно быть большинство, – это решается обыкновенно вне заседания.

Таков сложный механизм парламентского лицедейства, таков образ великой политической лжи, господствующей в наше время. По теории парламентаризма, должно господствовать разумное большинство; на практике господствуют пять-шесть предводителей партии; они, сменяясь, овладевают властью. По теории, убеждение утверждается ясными доводами во время парламентских дебатов; на практике – оно не зависит нисколько от дебатов, но направляется волею предводителей и соображениями личного интереса. По теории, народные представители имеют в виду единственно народное благо; на практике – они, под предлогом народного блага, и на счет его, имеют в виду преимущественно личное

благо свое и друзей своих. По теории – они должны быть из лучших, излюбленных граждан; на практике – это наиболее честлюбивые и нахальные граждане. По теории – избиратель подает голос за своего кандидата потому, что знает его и доверяет ему; на практике – избиратель дает голос за человека, которого по большей части совсем не знает, но о котором натвержено ему речами и криками заинтересованной партии. По теории – делами в парламенте управляют и двигают – опытный разум и бескорыстное чувство; на практике – главные движущие силы здесь – решительная воля, эгоизм и красноречие.

Вот каково в сущности это учреждение, выставляемое – целью и венцом государственного устройства. Больно и горько думать, что в земле Русской были и есть люди, мечтающие о водворении этой лжи у нас; что профессоры наши еще проповедуют своим юным слушателям о представительном правлении, как об идеале государственного учреждения; что наши газеты и журналы твердят о нем в передовых статьях и фельетонах, под знаменем правового порядка; твердят – не давая себе труда взглядеться ближе, без предубеждения, в действие парламентской машины. Но уже и там, где она издавна действует, – ослабевает вера в нее; еще славит ее либеральная интеллигенция, но народ стонет под гнетом этой машины и распознает скрытую в ней ложь. Едва ли дождемся мы, – но дети наши и внуки, несомненно, дождутся свержения этого идола, которому современный разум продолжает еще в самообольщении поклоняться...

II

Много зла наделали человечеству философы школы Ж.-Ж.Руссо. Философия эта завладела умами, а между тем вся она построена на одном ложном представлении о совершенстве человеческой природы и о полнейшей способности всех и каждого уразуметь и осуществить те начала общественного устройства, которые эта философия проповедовала.

На том же ложном основании стоит и господствующее ныне учение о совершенствах демократии и демократического правления. Эти совершенства предполагают – совершенную способность массы уразуметь тонкие черты политического учения, явственно и отдельно присущие сознанию его проповедников. Эта ясность сознания доступна лишь немногим умам, составляющим аристократию интеллигенции; а масса, как всегда и повсюду, состояла и состоит из толпы – "vulgus", и ее представления по необходимости будут "вульгарные".

Демократическая форма правления – самая сложная и самая затруднительная из всех известных в истории человечества. Вот причина – почему эта форма повсюду была преходящим явлением и, за немногими исключениями, нигде не держалась долго, уступая место другим формам. И не удивительно. Государственная власть призвана действовать и распоряжаться; действия ее суть проявления единой воли, – без этого немислимо никакое правительство. Но в каком смысле множество людей или собрание народов может проявлять единую волю? Демократическая фразеология не останавливается на решении этого вопроса, отвечая на него известными фразами и поговорками вроде таких, например: "воля народная", "общественное мнение", "верховное решение нации", "глас народа – глас Божий" и т.п. Все эти фразы, конечно, должны означать, что великое множество людей, по великому множеству вопросов, может прийти к одинаковому заключению и постановить сообразно с ним одинаковое решение. Пожалуй, это и бывает возможно, но лишь по самым простым вопросам. Но когда с вопросом соединено хотя малейшее усложнение, решение его в многочисленном собрании возможно лишь при посредстве людей, способных обсудить его во всей сложности, и затем убедить массу к принятию решения. К

числу самых сложных принадлежат, например, политические вопросы, требующие крайнего напряжения умственных сил у самых способных и опытных мужей государственных: в таких вопросах, очевидно, нет ни малейшей возможности рассчитывать на объединение мысли и воли в многолюдном народном собрании: – решения массы в таких вопросах могут быть только губительные для государства. Энтузиасты демократии уверяют себя, что народ может проявлять свою волю в делах государственных: это пустая теория, – на деле же мы видим, что народное собрание способно только принимать – по увлечению – мнение, выраженное одним человеком или некоторым числом людей; например, мнение известного предводителя партии, известного местного деятеля, или организованной ассоциации, или, наконец, – безразличное мнение того или другого влиятельного органа печати. Таким образом, процедура решения превращается в игру, совершающуюся на громадной арене множества голов и голосов; чем их более принимается в счет, тем более эта игра запутывается, тем более зависит от случайных и беспорядочных побуждений.

К избежанию и обходу всех этих затруднений изобретено средство – править посредством представительства – средство, организованное прежде сего и оправдавшее себя успехом в Англии. Отсюда, по установившейся моде, перешло оно и в другие страны Европы, но привилось с успехом, по прямому преданию и праву, лишь в Американских Соединенных Штатах. Однако и на родине своей, в Англии, представительные учреждения ступают в критическую эпоху своей истории. Самая сущность идеи этого представительства подверглась уже здесь изменению, извращающему первоначальное его значение. Дело в том, что с самого начала собрание избирателей, тесно ограниченное, присылало от себя в парламент известное число лиц, долженствовавших представлять мнение страны в собрании, но не связанных никакою определенной инструкцией от массы своих избирателей. Предполагалось, что избраны люди, разумеющие истинные нужды страны своей и способные дать верное направление государственной политике. Задача разрешалась просто и ясно: требовалось уменьшить до возможного предела трудность народного правления, ограничив малым числом способных людей – собрание, призванное к решению государственных вопросов. Люди эти являлись в качестве свободных представителей народа, а не того или другого мнения, той или другой партии, не связанные никакою инструкцией. Но с течением времени, мало-помалу эта система изменилась под влиянием того же рокового предрассудка о великом значении общественного мнения, просвещаемого, будто бы, периодическою печатью и дающего массе народной способность иметь прямое участие в решении политических вопросов. Понятие о представительстве совершенно изменило свой вид, превратившись в понятие о мандате, или определенном поручении. В этом смысле, каждый избранный в той или другой местности почитается уже представителем мнения, в той местности господствующего, или партии, под знаменем этого мнения одержавшей победу на выборах, – это уже не представитель от страны или народа, но делегат, связанный инструкцией от своей партии. Это изменение в самом существе идеи представительства послужило началом язвы, разъедающей все системы представительного правления. Выборы, с раздроблением партий, приняли характер личной борьбы местных интересов и мнений, отрешенной от основной идеи о пользе государственной. При крайнем умножении числа членов собрания большинство их, помимо интереса борьбы и партии, заражается равнодушием к общественному делу и теряет привычку присутствовать во всех заседаниях и участвовать непосредственно в обсуждении всех дел. Таким образом, дело законодательства и общего направления политики, самое важное для

государства, – превращается в игру, состоящую из условных формальностей, сделок и фикций. Система представительства сама себя оболживила на деле.

Эти плачевные результаты всего явственнее обнаруживаются там, где население государственной территории не имеет цельного состава, но включает в себе разнородные национальности. Национальность в наше время можно назвать пробным камнем, на котором обнаруживается лживость и непрактичность парламентского правления. Примечательно, что начало национальности выступило вперед и стало движущей и раздражающей силой в ходе событий именно с того времени, как пришло в соприкосновение с новейшими формами демократии. Довольно трудно определить существо этой новой силы и тех целей, к каким она стремится; но несомненно, что в ней – источник великой и сложной борьбы, которая предстоит еще в истории человечества, и неведомо к какому приведет исходу. Мы видим теперь, что каждым отдельным племенем, принадлежащим к составу разноплеменного государства, овладевает страстное чувство нетерпимости к государственному учреждению, соединяющему его в общий строй с другими племенами, и желание иметь свое самостоятельное управление со своею, нередко мнимую, культурой. И это происходит не с теми только племенами, которые имели свою историю и, в прошедшем своем, отдельную политическую жизнь и культуру, – но и с теми, которые никогда не жили особо политической жизнью. Монархия неограниченная успевала устранять или примирять все подобные требования и порывы, – и не одною только силой, но и уравнением прав и отношений под одною властью. Но демократия не может с ними справиться, и инстинкты национализма служат для нее разъедающим элементом: каждое племя из своей местности высылает представителей – не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, племенной ненависти – и к господствующему племени, и к другим племенам, и к связующему все части государства учреждению. Какой нестройный вид получает в подобном составе народное представительство и парламентское правление – очевидным тому примером служит в наши дни австрийский парламент. Провидение сохранило нашу Россию от подобного бедствия, при ее разноплеменном составе. Страшно и подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала нам роковой дар – всероссийского парламента! Да не будет.

III

Указывают на Англию, но к этим указаниям можно бы, кажется, применить пословицу: "слышали звон, да не знают, где он". Социальная наука в последнее время принялась вскрывать исторические и экономические ключи, откуда истекают особливые учреждения англосаксонской и отчасти скандинавской расы, сравнительно с учреждениями остальных европейских народов. Англосаксонское племя с тех пор, как заявило себя в истории, и доныне отличается крепким развитием самостоятельной личности: и в сфере политической и в экономической этому свойству англосаксонское племя обязано и устойчивостью древних своих учреждений, и крепкой организацией семейного быта и местного самоуправления, и теми несравненными успехами, коих оно достигло своею энергичною деятельностью и влиянием своим в обоих полушариях. Этой энергией личности успело оно в начале своей истории осилить чуждые норманские обычаи своих победителей и утвердить быт свой на своих началах, которые сохраняются и доныне. Существенное отличие этого быта состоит в отношении каждого гражданина к государству. Каждый привыкает с юности сам собою держаться, сам устраивать судьбу свою и добывать себе хлеб насущный. Родители не обременены заботой об устройстве судьбы детей своих и об оставлении им

наследства. Землевладельцы держатся своих имений и сами стремятся вести на них хозяйство и промыслы. Местное управление держится личным, сознательным по долгу, участием местных обывателей в общественном деле. Учреждения административные обходятся без полчища чиновников, состоящих на содержании у государства и чающих от него обеспечения и возвышения. Вот на каком корне сами собою, исторически выросли представительные учреждения свободной Англии, и вот почему ее парламент состоит из действительных представителей местных интересов, тесно связанных с землею: – вот почему и голос их может считаться, в достаточной мере, голосом земли и органом национальных интересов.

Прочие народы Европы образовались и выросли совсем на ином основании, на основании общинного быта. Свойство его состоит в том, что человек не столько сам собою держится, сколько своею солидарностью с тем или другим общественным союзом, к которому принадлежит. Отсюда, с ходом общественного и государственного развития слагается особливая зависимость человека от того или иного семейного или общественного союза, и, в конце концов, от государства. Эти союзы, быв в начале крепкими учреждениями – семейными, политическими, религиозными, общественными, крепко держали человека в его жизни и деятельности, и ими, в свою очередь, держалось все общественное и государственное устройство. Но эти союзы с течением времени или распались, или утратили свое вековое господственное значение, однако люди продолжают по-прежнему искать себе опоры и устройства судьбы своей и благосостояния – в семье своей, в своей корпорации и, наконец, в государственной власти (все равно, монархической или республиканской), возлагая на нее же вину своих бедствий, когда этой опоры, по желанию своему, не находят. Словом сказать, человек стремится к одной из этих властей пристроить себя и судьбу свою. Отсюда, в таком состоянии общества, оскудение людей самостоятельных и независимых, людей, которые сами держатся на ногах своих и знают, куда идут, составляя в государстве силу, служащую ему опорой, и напротив того, крайнее умножение людей, которые ищут себе опоры в государстве, питаются его соками, и не столько дают ему силы, сколько от него требуют. Отсюда крайнее развитие в таких обществах, с одной стороны, чиновничества, с другой – так называемых либеральных профессий. Отсюда, при ослаблении в нравах самодеятельности, крайнее усложнение отправлений государственной и законодательной власти, принимающей на себя заботу о многом, о чем каждый для себя должен бы заботиться. В таком состоянии общество мало-помалу подготавливает у себя благоприятную почву для развития социализма, и привычка возлагать на государство заботу о благосостоянии всех и каждого обращается, наконец, в безумную теорию социализма государственного. В таких-то условиях своего социального развития все континентальные государства, с англосаксонского образца, учредили у себя представительное правление, иные еще при всеобщей подаче голосов. Очевидно, что при описанном составе общества и при легком отношении его к общественному делу оно не может выделить из себя истинных, верных представителей земли и прямых ее интересов. Отсюда печальная судьба таких представительных собраний и тяжкое, безысходное положение власти правительственной, которая неразрывно с ними связана, и народа, судьбы коего от них зависят.

Что же сказать о народах славянского племени, отличающихся особливым у себя развитием общинного быта, при крайней юности своей культуры, о Румынии и о несчастной Греции? Сюда, поистине, представительные учреждения внесли сразу разлагающее начало народной жизни, представляя из себя в иных случаях

жалкую карикатуру Запада, напоминающую басню Крылова "Мартышка и очки".

IV

Величайшее зло конституционного порядка состоит в образовании министерства на парламентских или партийных началах. Каждая политическая партия одержима стремлением захватить в свои руки правительственную власть и к ней пробирается. Глава государства уступает политической партии, составляющей большинство в парламенте; в таком случае министерство образуется из членов этой партии и, ради удержания власти, начинает борьбу с оппозицией, которая усиливается низвергнуть его и вступить на его место. Но если глава государства склоняется не к большинству, а к меньшинству, и из него избирает свое министерство, в таком случае новое правительство распускает парламент и употребляет все усилия к тому, чтобы составить себе большинство при новых выборах и с помощью его вести борьбу с оппозицией. Сторонники министерской партии подают голос всегда за правительство; им приходится во всяком случае стоять за него – не ради поддержания власти, не из-за внутреннего согласия в мнениях, а из-за того, что это правительство само держит членов своей партии во власти и во всех сопряженных со властью преимуществ, выгодах и прибылях. Вообще – существенный мотив каждой партии – стоять за своих во что бы то ни стало, или из-за взаимного интереса, или просто в силу того стадного инстинкта, который побуждает людей разделяться на дружины и лезть в бой стена на стену. Очевидно, что согласие в мнениях имеет в этом случае очень слабое значение, а забота об общественном благе служит прикрытием вовсе чуждых ему побуждений и инстинктов. И это называется идеалом парламентского правления. Люди обманывают себя, думая, что оно служит обеспечением свободы. Вместо неограниченной власти монарха мы получаем неограниченную власть парламента, с тою разницей, что в лице монарха можно представить себе единство разумной воли; а в парламенте нет его, ибо здесь все зависит от случайности, так как воля парламента определяется большинством; но как скоро при большинстве, составляемом под влиянием игры в партию, есть меньшинство, воля большинства не есть уже воля целого парламента: тем еще менее можно признать ее волею народа, здоровая масса коего не принимает никакого участия в игре партий и даже уклоняется от нее. Напротив того, именно нездоровая часть населения мало-помалу вводится в эту игру и ею развращается; ибо главный мотив этой игры есть стремление к власти и к наживе. Политическая свобода становится фикцией, поддерживаемою на бумаге, параграфами и фразами конституции; начало монархической власти совсем пропадает; торжествует либеральная демократия, водворяя беспорядок и насилие в обществе, вместе с началами безверия и материализма, провозглашая свободу, равенство и братство – там, где нет уже места ни свободе, ни равенству. Такое состояние ведет неотразимо к анархии, от которой общество спасается одною лишь диктатурой, т.е. восстановлением единой воли и единой власти в правлении.

Первый образец народного, представительного правления явила новейшей Европе Англия. С половины прошлого столетия французские философы стали прославлять английские учреждения и выставлять их примером для всеобщего подражания. Но в ту пору не столько политическая свобода привлекала французские умы, сколько привлекали начала религиозной терпимости, или, лучше сказать, начала безверия, бывшие тогда в моде в Англии и пущенные в обращение английскими философами того времени. Вслед за Францией, которая давала тон и нравам, и литературе во всей западной интеллигенции, мода на английские учреждения распространилась по всему Европейскому материку. Между тем произошли два великих события, из коих одно утверждало веру, а

другое – чуть было совсем не поколебало ее. Возникла республика Американских Соединенных Штатов, и ее учреждения, скопированные с английских (кроме королевской власти и аристократии), принялись на новой почве прочно и плодотворно. Это произвело восторг в умах, и прежде всего во Франции. С другой стороны – явилась Французская республика, и скоро явила миру все гнусности, беспорядки и насилия революционного правительства. Повсюду произошел взрыв негодования и отвращения против французских и, стало быть, вообще против демократических учреждений. Ненависть к революции отразилась даже на внутренней политике самого британского правительства. Чувство это начало ослабевать к 1815 году, под влиянием политических событий того времени в умах проснулось желание с свежою надеждой соединить политическую свободу с гражданским порядком в формах, подходящих к английской конституции: вошла в моду опять политическая англоманья. Затем последовал ряд попыток осуществить британский идеал, сначала во Франции, потом в Испании и Португалии, потом в Голландии и Бельгии, наконец, в последнее время, в Германии, в Италии и в Австрии. Слабый отголосок этого движения отразился и у нас в 1825 году, в безумной попытке аристократов-мечтателей, не знавших ни своего народа, ни своей истории.

Любопытно проследить историю новых демократических учреждений: долговечны ли оказались они, каждое на своей почве, в сравнении с монархическими учреждениями, коих продолжение история считает рядом столетий.

Во Франции, со времени введения политической свободы, правительство во всей силе государственной своей власти было три раза ниспровергнуто парижскою уличною толпою в 1792 г., в 1830 и в 1848 году. Три раза было ниспровергнуто армией, или военной силой: в 1797 году 4 сентября (18 фруктидора), когда большинством членов директории, при содействии военной силы, были уничтожены выборы, состоявшиеся в 48 департаментах, и отправлены в ссылку 56 членов законодательных собраний. В другой раз, в 1797 году 9 ноября (18 брюмера) правительство ниспровергнуто Бонапартом, и наконец, в 1851 г. 2 декабря другим Бонапартом, младшим. Три раза правительство было ниспровергнуто внешним нашествием неприятеля: в 1814, в 1815 и в 1870. В общем счете, с начала своих политических экспериментов по 1870 год Франция имела 44 года свободы и 37 годов сурового диктаторства. Притом еще стоит заметить странное явление: монархи старшей Бурбонской линии, оставляя много места действию политической свободы, никогда не опирались на чистом начале новейшей демократии; напротив того, оба Наполеона, провозгласив безусловно эти начала, управляли Францией деспотически.

В Испании народное правление провозглашено было в эпоху окончательного падения Наполеона. Чрезвычайное собрание кортесов утвердило в Кадиксе конституцию, провозгласив в первой статье оной, что верховенство власти принадлежит нации. Фердинанд VII, вступив в Испанию через Францию, отменил эту конституцию и стал править самовластно. Через 6 лет генерал Риго во главе военного восстания принудил короля восстановить конституцию. В 1823 году французская армия, под внушением Священного союза, вступила в Испанию и восстановила Фердинанда в самовластии. Вдова его, в качестве регентши, для охранения прав дочери своей Изабеллы против Дон-Карлоса, вновь приняла конституцию. Затем начинается для Испании последовательный ряд мятежей и восстаний, изредка прерываемых краткими промежутками относительного спокойствия. Достаточно указать, что с 1816 года до вступления на престол Альфонса было в Испании до 40 серьезных военных восстаний с участием народной толпы. Говоря об Испании, нельзя не упомянуть о том чудовищном и

поучительном зрелище, которое представляют многочисленные республики Южной Америки, республики испанского происхождения и испанских нравов. Вся их история представляет непрестанную смену ожесточенной резни между народною толпою и войсками, прерываемую правлением деспотов, напоминающих Коммода или Калигулу. Довольно привести в пример хотя Боливию, где из числа 14 президентов республики тринадцать кончили свое правление насильственной смертью или ссылкой.

Начало народного, или представительного правления в Германии и в Австрии – не ранее 1848 года. Правда, начиная с 1815 года поднимается глухой ропот молодой интеллигенции на германских владетельных князей за неисполнение обещаний, данных народу в эпоху великой войны за освобождение. За немногими, мелкими, исключениями в Германии не было представительных учреждений до 1847 года, когда прусский король учредил у себя особенную форму конституционного правления; однако оно не простояло и одного года. Но стоило только напору парижской уличной толпы сломить французскую хартию и низложить конституционного короля, как поднялось и в Германии уличное движение, с участием войск. В Берлине, в Вене, во Франкфурте устроились национальные собрания, по французскому шаблону. Едва прошел год, как правительство разогнало их военною силою. Новейшие германские и австрийские конституции все исходят от монархической власти и еще ждут суда своего от истории.

1. Под другим именем (лат.) ^ _

2. Мир желает быть обманутым – пусть же его обманывают (лат.) ^ _

ПЕЧАТЬ

С тех пор как пало человечество, ложь водворилась в мире, в словах людских, в делах, в отношениях и учреждениях. Но никогда еще, кажется, отец лжи не изобретал такого сплетения лжей всякого рода, как в наше смутное время, когда столько слышится отовсюду лживых речей о правде. По мере того как усложняются формы быта общественного, возникают новые лживые отношения и целые учреждения, насквозь пропитанные ложью. На всяком шагу встречаешь великолепное здание, на фронте коего написано: "Здесь истина". Входишь и ничего не видишь кроме лжи. Выходишь, и когда пытаешься рассказать о лжи, которую душа возмущалась, – люди негодуют и велят верить и проповедовать, что это истина, вне всякого сомнения.

Так нам велят верить, что голос журналов и газет – или так называемая пресса, есть выражение общественного мнения... Увы! Это великая ложь, и пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени.

Кто станет спорить против силы мнения, которое люди имеют о человеке или учреждении? Такова уже натура человеческая, что всякий из нас, – что ни говорит, что ни делает, оглядывается, как это кажется и что люди думают. Не было и нет человека, кто бы мог считать себя свободным от действий этой силы.

Эта сила в наше время принимает организованный вид и называется общественным мнением. Органом его и представителем считается печать. И подлинно, значение печати громадное и служит самым характерным признаком нашего времени, более характерным, нежели все изумительные открытия и изобретения в области техники. Нет правительства, нет закона, нет обычая, которые могли бы противостать разрушительному действию печати в государстве, когда все газетные листы его изо дня в день, в течение годов, повторяют и распространяют в массе одну и ту же мысль, направленную против того или другого учреждения.

Что же придает печати такую силу? Совсем не интерес новостей, известий и сведений, которыми листки наполняются, – но известная тенденция журнала, та политическая или философская мысль, которая выражается в статьях его, в подборе и расположении известий и слухов и в освещении подбираемых фактов и слухов. Печать ставит себя в положение судящего наблюдателя ежедневных явлений; она обсуждает не только действия и слова людские, но испытует даже невысказанные мысли, намерения и предположения, по произволу клеймит их или восхваляет, возбуждает одних, другим угрожает, одних выставляет на позор, других ставит предметом восторга и примером подражания. Во имя общественного мнения она раздает награды одним, другим готовит казнь, подобную средневековому отлучению...

Сам собою возникает вопрос: кто же представители этой страшной власти, именуемой себя общественным мнением? Кто дал им право и полномочие – во имя целого общества – править, ниспровергать существующие учреждения, выставлять новые идеалы нравственного и положительного закона?

Никто не хочет вдуматься в этот совершенно законный вопрос и дознаться в нем до истины; но все кричат о так называемой свободе печати, как о первом и главнейшем основании общественного благоустройства. Кто не вопиет об этом и у нас, в несчастной, оболганной и оболживленной чужеземною ложью России? Вопиют в удивительной непоследовательности и так называемые славянофилы, мнящие восстановить и водворить историческую правду учреждений в земле Русской. И они, присоединяясь в этом к хору либералов, совоккупленных с

поборниками начал революций, говорят совершенно по-западному: "Общественное мнение, то есть соединенная мысль, с чувством и юридическим сознанием всех и каждого, служит окончательным решением в делах общественного быта; итак, всякое стеснение свободы слова не должно быть допуссаемо, ибо в стеснении сего выражается насилие меньшинства над всеобщою волею".

Таково ходячее положение новейшего либерализма. Оно принимается на веру многими, и мало кто, вдумываясь в него, примечает, сколько в нем лжи и легкомысленного самообольщения.

Оно противоречит первым началам логики, ибо основано на вполне ложном предположении, будто общественное мнение тождественно с печатью.

Чтоб удостовериться в этой лживости, стоит только представить себе, что такое газета, как она возникает и кто ее делает.

Любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать газету, хотя бы небольшую, собрать около себя по первому кличу толпу писак, фельетонистов, готовых разглагольствовать о чем угодно, репортеров, поставляющих безграмотные сплетни и слухи, – и штаб у него готов, и он может с завтрашнего дня стать в положение власти, судящей всех и каждого, действовать на министров и правителей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность. Это особый вид учредительства и грондерства, и притом самого дешевого свойства. Разумеется, новая газета тогда только приобретает силу, когда пошла в ход на рынке, т.е. распространена в публике. Для этого требуются таланты, требуется содержание привлекательное, сочувственное для читателей. Казалось бы, тут есть некоторая гарантия нравственной солидарности предприятия: талантливые люди пойдут ли в службу к ничтожному или презренному издателю и редактору? <>Читатели станут ли брать такую газету, которая не будет верным отголоском общественного мнения? Но это гарантия только мнимая и отвлеченная. Ежедневный опыт показывает, что тот же рынок привлекает за деньги какие угодно таланты, если они есть на рынке, и таланты пишут что угодно редактору. Опыт показывает, что самые ничтожные люди – какой-нибудь бывший ростовщик, жид фактор [1], газетный разносчик, участник банды "червонных валетов", разорившийся содержатель рулетки – могут основать газету, привлечь талантливых сотрудников и пустить свое издание на рынок в качестве органа общественного мнения. Нельзя положиться и на здравый вкус публики. В массе читателей – большею частью праздных – господствуют, наряду с некоторыми добрыми, жалкие и низкие инстинкты праздного развлечения, и любой издатель может привлечь к себе массу расчетом на удовлетворение именно таких инстинктов, на охоту к скандалам и пряностям всякого рода. Мы видим у себя ежедневные тому примеры, и в нашей столице недалеко ходить за ними: стоит только присмотреться к спросу и предложению у газетных разносчиков возле людных мест и на станциях железных дорог. Всем известен недостаток серьезности в нашей общественной беседе: в уездном городе, в губернии, в столице – известно, чем она пробавляется – картами и сплетней всякого рода – и анекдотом, во всех возможных его формах. Самая беседа о так называемых вопросах общественных и политических является большею частью в форме пересуда и отрывочной фразы, пересыпаемой тою же сплетней и анекдотом. Вот почва необыкновенно богатая и благодарная для литературного промышленника, и на ней-то родятся, подобно ядовитым грибам, и эфемерные, и успевшие стать на ноги, органы общественной сплетни, нахально выдающие себя за органы общественного мнения. Ту же самую гнусную роль, которую посреди праздной жизни какого-нибудь губернского города играют безымянные письма и

пасквили, к сожалению, столь распространенные у нас, – ту же самую роль играют в такой газете корреспонденции, присылаемые из разных углов и сочиняемые в редакции. Не говорим уже о массе слухов и известий, сочиняемых невежественными репортерами, не говорим уже о гнусном промысле шантажа, орудием коего нередко становится подобная газета. И она может процветать, может считаться органом общественного мнения и доставлять своему издателю громадную прибыль... И никакое издание, основанное на твердых нравственных началах и рассчитанное на здравые инстинкты массы, – не в силах будет состязаться с нею.

Стоит всмотреться в это явление: мы распознаем в нем одно из безобразнейших логических противоречий новейшей культуры, и всего безобразнее является оно именно там, где утвердился начала новейшего либерализма, – именно там, где требуется для каждого учреждения санкция выбора, авторитет всенародной воли, где правление сосредоточивается в руках лиц, опирающихся на мнение большинства в собрании представителей народных. От одного только журналиста, власть коего практически на все простирается, – не требуется никакой санкции. Никто не выбирает его и никто не утверждает. Газета становится авторитетом в государстве, и для этого единственного авторитета не требуется никакого признания. Всякий, кто хочет, первый встречный может стать органом этой власти, представителем этого авторитета, – и притом вполне безответственным, как никакая иная власть в мире. Это так, без преувеличения: примеры живые налицо. Мало ли было легкомысленных и бессовестных журналистов, по милости коих подготовлялись революции, закипало раздражение до ненависти между сословиями и народами, переходившее в опустошительную войну. Иной монарх за действия этого рода потерял бы престол свой; министр подвергся бы позору, уголовному преследованию и суду: но журналист выходит сух как из воды, изо всей заведенной им смуты, изо всякого погрома и общественного бедствия, коего был причиною, выходит с торжеством, улыбаясь и бодро принимаясь снова за свою разрушительную работу.

Спустимся ниже. Судья, имея право карать нашу честь, лишать нас имущества и свободы, приемлет его от государства и должен продолжительным трудом и испытанием готовиться к своему званию. Он связан строгим законом; всякие ошибки его и увлечения подлежат контролю высшей власти, и приговор его может быть изменен и исправлен. А журналист имеет полнейшую возможность запятнать, опозорить мою честь, затронуть мои имущественные права; может даже стеснить мою свободу, затруднив своими нападками или сделав невозможным для меня пребывание в известном месте. Но эту судебскую власть надо мною сам он себе присвоил: ни от какого высшего авторитета он не приял этого звания, не доказал никаким испытанием, что он к нему приговорен, ничем не удостоверил личных качеств благонадежности и беспристрастия, в суде своем надо мною не связан никакими формами процесса и не подлежит никакой апелляции в своем приговоре. Правда, защитники печати утверждают, будто она сама излечивает наносимые ею раны; но ведь всякому разумному понятно, что это одно лишь праздное слово. Нападки печати на частное лицо могут причинить ему вред неисправимый. Все возможные опровержения и объяснения не могут дать ему полного удовлетворения. Не всякий из читателей, кому попалась на глаза первая поносительная статья, прочтет другую оправдательную или объяснительную, а при легкомыслии массы читателей – позорящее внушение или надругательство оставляют во всяком случае яд в мнении и расположении массы. Судебное преследование за клевету, как известно, дает плохую защиту, и процесс по поводу клеветы служит почти всегда средством не к обличению обидчика, но к новым оскорблениям обиженного; а притом журналист имеет всегда тысячу

средств уязвлять и тревожить частное лицо, не давая ему прямых поводов к возбуждению судебного преследования.

Итак – можно ли представить себе деспотизм более насильственный, более безответственный, чем деспотизм печатного слова? И не странно ли, не дико ли и безумно, что о поддержании и охране именно этого деспотизма хлопочут всего более – ожесточенные поборники свободы, вопиющие с озлоблением против всякого насилия, против всяких законных ограничений, против всякого стеснительного распоряжения установленной власти? Невольно приходит на мысль вековечное слово об умниках, которые совсем обезумели от того, что возомнили себя мудрыми!

II

В нашем веке распространения изобретений всего удивительнее быстрое распространение газетной литературы, ставшей в короткое время страшную действительную общественную силой. Значение газеты возросло в первый раз после Июльской революции 1830 года, усугубилось еще после революции 1848 года и затем стало возрастать не годами только, но днями. Ныне с этою силой считаются правительства, и стало даже невозможно представить себе не только общественную, но и частную жизнь без газеты, и прекращение выхода газет, если б возможно было бы представить его себе, было бы однозначно с прекращением всякого действия железных дорог.

Газета, несомненно, служит для человечества важнейшим орудием культуры. Но, признавая все удобство и пользу от распространения массы сведений и от обмена мыслей и мнений путем газеты, нельзя не видеть и того вреда, который происходит для общества от безграничного распространения газеты, нельзя не признать с чувством некоторого страха, что в ежедневной печати скопляется какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая над человечеством.

Каждый день, поутру, газета приносит нам кучу разнообразных новостей. В этом множестве многое ли пригодно для жизни нашей и для нашего образовательного развития? Многое ли способно поддерживать в душе нашей священный огонь одушевления на добро? И напротив – сколько здесь такого, что льстит самым низменным нашим склонностям и побуждениям! Могут сказать, что нам дают то, что требуется вкусом читателей, что отвечает на спрос. Но это возражение можно обернуть: спрос был бы не такой, если б не так ретиво было предложение.

Но пускай бы еще предлагались одни новости: нет, они предлагаются в особой форме, окрашенные особливим мнением, соединенные с безымянным, но очень решительным суждением. Есть, конечно, серьезные умы, руководящие газетой; таких немного; а газет великое множество, и всякое утро некто, совсем незнаемый мною и, может быть, такой, какого я и знать не хотел бы, навязывает мне свое суждение, выдавая его авторитетно за голос общественного мнения. Но всего важнее то, что эта газета, обращаясь ежедневно даже не к известному кругу людей, но ко всему люду, умеющему лишь разбирать печатное, предлагает каждому готовые суждения обо всем и таким образом, мало-помалу, силою привычки, отучает своих читателей от желанья и от всякого старания иметь свое собственное мнение; иной не имеет возможности сам себе составить его и воспринимает механически мнение своей газеты; иной и мог бы сам рассудить основательно, но ему некогда думать посреди дневной суеты и заботы, и ему удобно, что за него думает газета. Очевидно, какой происходит от этого вред именно в наше время, когда повсюду действуют сильные течения тенденциозной мысли, и стремятся уравнивать всякие углы и отличия индивидуального мышления и свести их к единообразному уровню так называемого общественного мнения: в

этих условиях газета служит сильнейшим орудием такого уравнения, ослабляющего всякое самостоятельное развитие мысли, воли и характера. А притом, для какого множества людей газета служит почти единственным источником образования, жалкого, мнимого образования, – когда масса разных сведений и известий, приносимая газетой, принимается читателем за действительное знание, которым он с самоуверенностью вооружает себя. Вот одна из причин, почему наше время так бедно цельными людьми, характерными деятелями. Новейшая печать похожа на сказочного богатыря, который, написав на челе своем таинственные буквы – символ божественной истины, поражал всех своих противников дотоле, пока не явился бесстрашный боец, который стер с чела его таинственные буквы. – На челе нашей печати написаны доселе знамена общественного мнения, действующие неотразимо.

III

В настоящем состоянии общества и при нынешнем его устройстве печать стала учреждением, с которым необходимо считаться, и крепко считаться, в ряду других учреждений, связанных государственною властью и подлежащих контролю и ответственности, – ибо нет учреждения, которое могло бы считать себя бесконтрольным и безответственным. Но чем дальше разрастается это учреждение печати, тем явственнее становятся, наряду с очевидными выгодами разумной и совестливой гласности, и те общественные язвы, которые им порождаются. Одна из этих язв печати состоит в том, что она производит и плодит до безмерности целое сословие журналистов, предпринимателей и писателей, "кормящихся и богатеющих пером". Самые серьезные деятели серьезной печати не перестают горько жаловаться на умножение числа этих собратий, с которыми стыдно, но приходится считаться в составе одного учреждения. Во всех больших государствах, на всех больших рынках из этого сброда пишущей братии образовалось сословие, которое не напрасно будет назвать паразитами общества.

В самом деле, это – люди, стоящие на какой-то особой почве в отношении к благу общественному, которое должно бы связывать и одушевлять все учреждения. Эти люди не заинтересованы прямо в охранении общественного порядка, в умиротворении мятущихся умов и враждующих партий. И естественно. Всякая газета живет и питается ежедневными событиями, новостями всякого рода. Расход ее усиливается именно в смутное время, и тут именно все старание направлено к распространению новостей и слухов, раздражающих и смущающих умы; напротив того, в тихое время расход газеты значительно уменьшается. Лишь только поднимается смута, тотчас появляются на рынке новые газеты, чтобы покормиться ею, до тихой поры, когда они сокращаются и исчезают. Но и в тихое время надобно кормиться, а для этого требуется возбудить новое волнение умов, развести новые интересы: изобретаются сенсационные новости, раскрашиваются, преувеличиваются.

Пищею для журналов, претендующих на серьезность, служит политика, и обсуждение политических вопросов, вспеняемых полемикой, происходит ежедневно. Любой журналист готов сразу рассуждать о каком угодно политическом вопросе, но, по своему положению, обязан рассудить и решить его немедленно, сейчас – ибо он должен быть борзописцем, слугою не мысли, не разума, но – настоящего дня. Едва вскочила в голове мысль его, как она уже летит на бумагу, на печатный станок: некогда ждать, некогда дать созреть зародившейся мысли. Спросите этих людей, стыдно ли им? Нисколько. Они разве посмеются в

глаза на такой вопрос: они убеждены, что совершают великое служение общественное. Разве, кои поумнее, те, между собою, подобно древним авгурам, сами подсмеиваются над собой и над публикой.

Притом журнальный писатель, для того чтоб его услышали, чтобы обратили на него внимание, должен всячески напрягать свой голос; если можно – кричать. Этого требует ремесло его: преувеличение, способное переходить в пафос, становится для него второю натурой. Вот почему, пускаясь в полемику с противным мнением, он готов назвать своего противника дураком, подлецом, невеждою – взвалить на него всевозможные пороки: это ничего ему не стоит – это требуется журнальною акустикой. Это – искусство крика, подобного крику торговца на рынке, когда он заманивает покупателя.

Вот какие привычки и качества развивает, к несчастью, печать в своих деятелях. И все это было бы смешно, когда бы не было так вредно. Вредно потому, что печать стала ныне ареною, на которой не только обсуждаются, но и решаются важнейшие вопросы и внутренней и внешней политики государства, вопросы экономии и администрации, связанные с самыми жизненными национальными интересами. Для всего этого мало одного задора; нужна мудрая рассудительность, зрелость мысли, нужен здравый смысл, нужно знание своей истории и своего народа, знание практической жизни. А между тем, ныне в Европе дошло уже до того, что из рядов журнальных ораторов выходят ораторы государственные и составляют в парламентах преобладающую силу, вместе с адвокатами, кои разделяют с ними искусство орудовать словом во всякую сторону. Так, ныне во Французской камере [2] лишь 22 представителя крупной и 50 мелкой поземельной собственности, но вся говорильная сила – у журналистов, коих 59, и у адвокатов, коих 107.

И эти люди считаются представителями страны своей и судьями народной жизни и ее потребностей. И народ стонет от законодательного смешения голосов, правящего судьбами государства, но не может от него освободиться.

1. Фактор – здесь: посредник, маклер, комиссионер (уст.) ^ _

2. Камера – здесь: парламент, палата депутатов (уст.) ^ _

НОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Что такое свобода, из-за которой так волнуются умы в наше время, столько совершается безумных дел, столько говорится безумных речей, и народ так бедствует? Свобода, в смысле демократическом, есть право власти политической, или, иначе сказать, право участвовать в правлении государством. Это стремление всех и каждого к участию в правлении не находит себе до сих пор верного исхода и твердых границ, но постоянно расширяется, и про него можно сказать, что сказано древним поэтом про водяную болезнь: "crescit indulgens sibi". Расширяя свое основание, новейшая демократия ставит ближайшею себе целью всеобщую подачу голосов – вот роковое заблуждение, одно из самых поразительных в истории человечества. Политическая власть, которой так страстно добивается демократия, раздробляется в этой форме на множество частиц, и достоянием каждого гражданина становится бесконечно малая доля этого права. Что он с нею сделает, куда употребит ее? В результате несомненно оказывается, что в достижении этой цели демократия оболживила свою священную формулу свободы, нераздельно соединенной с равенством. Оказывается, что с этим, по-видимому, уравновешенным распределением свободы между всеми и каждым соединяется полнейшее нарушение равенства, или сущее неравенство. Каждый голос, представляя собою ничтожный фрагмент силы, сам по себе ничего не значит: относительное значение может иметь только некоторое число, или группа голосов. Происходит явление, подобное тому, что бывает в собрании безыменных или акционерных обществ. Единицы сами по себе бессильны; но тот, кто сумеет прибрать к себе самое большое количество этих фрагментов силы, становится господином силы, следовательно, господином правления и решителем воли. В чем же, спрашивается, действительное преимущество демократии перед другими формами правления? Повсюду, кто оказывается сильнее, тот и становится господином правления: в одном случае – счастливый и решительный генерал, а в другом – монарх или администратор – с умением, ловкостью, с ясным планом действия, с непреклонною волей. При демократическом образе правления правителями становятся ловкие подбиратели голосов, с своими сторонниками, механики, искусно орудующие закулисными пружинами, которые приводят в движение кукол на арене демократических выборов. Люди этого рода выступают с громкими речами о равенстве, но в сущности любой деспот или военный диктатор в таком же, как и они, отношении господства к гражданам, составляющим народ. Расширение прав на участие в выборах демократия считает прогрессом, завоеванием свободы; по демократической теории выходит, что чем большее множество людей призывается к участию в политическом праве, тем более вероятность, что все воспользуются этим правом в интересах общего блага для всех, и для утверждения всеобщей свободы. Опыт доказывает совсем противное. История свидетельствует, что самые существенные, плодотворные для народа и прочные меры и преобразования исходили – от центральной воли государственных людей или от меньшинства, просветленного высокою идеей и глубоким знанием; напротив того, с расширением выборного начала происходило принижение государственной мысли и вульгаризация мнения в массе избирателей; что расширение это – в больших государствах – или вводилось с тайными целями сосредоточения власти, или само собою приводило к диктатуре. Во Франции всеобщая подача голосов отменена была в конце прошлого столетия с прекращением террора; а после того восстанавливаема была дважды для того,

чтобы утвердить на ней – самовластие двух Наполеонов. В Германии введение общей подачи голосов имело несомненную цель – утвердить центральную власть знаменитого правителя, приобретшего себе великую популярность громадными успехами своей политики... Что будет после него, одному Богу известно.

Игра в собрание голосов под знаменем демократии составляет в наше время обыкновенное явление во всех почти европейских государствах – и перед всеми, кажется, обнаружилась ложь ее; однако никто не смеет явно восстать против этой лжи. Несчастный народ несет тяготу; а газеты – глашатаи мнимого общественного мнения – заглушают вопль народный своим кликом: "Велика Артемида Ефесская!" Но для непредубежденного ума ясно, что вся эта игра не что иное, как борьба и свалка партий и подтасовывание чисел и имен. Голоса, – сами по себе ничтожные единицы, – получают цену в руках ловких агентов. Ценность их реализуется разными способами, и прежде всего подкупом – в самых разнообразных видах – от мелочных подачек деньгами и вещами до раздачи прибыльных мест в акцизе, финансовом управлении и в администрации. Образуется мало-помалу целый контингент избирателей, привыкших жить продажей голосов своих или своей агентуры. Доходит даже до того, – как, например, во Франции, что серьезные граждане, благоразумные и трудолюбивые, в громадном количестве вовсе уклоняются от выборов, чувствуя совершенную невозможность бороться с шайкою политических агентов. Наряду с подкупом пускаются в ход насилия и угрозы, организуется выборный террор, посредством коего шайка проводит насильно своего кандидата: – известны бурные картины выборных митингов, на коих пускается в ход оружие, и на поле битвы остаются убитые и раненые.

Организация партий и подкуп – вот два могучих средства, которые употребляются с таким успехом для орудования массами избирателей, имеющими голос в политической жизни. Средства эти не новые. Еще Фукидид описывает резкими чертами действие этих средств в древних греческих республиках. История Римской республики представляет поистине чудовищные примеры подкупа, составляющего обычное орудие партий на выборах. Но в наше время изобретено еще новое средство тасовать массы для политических целей и соединять множество людей в случайные союзы, возбуждая между ними мнимое согласие мнений. Это средство, которое можно приравнять к политическому передергиванию, состоит в искусстве быстрого и ловкого обобщения идей, составления фраз и формул, бросаемых в публику с крайнею самоуверенностью горячего убеждения, как последнее слово науки, как догмат политического учения, как характеристику событий, лиц и учреждений. Считалось некогда, что умение анализировать факты и выводить из них общее начало – свойственно немногим просвещенным умам и высоким мыслителям: ныне оно считается общим достоянием, и общие фразы политического содержания, под именем убеждений, стали как бы ходячего монетой, которую фабрикуют газеты и политические ораторы.

Способность быстро схватывать и принимать на веру общие выводы, под именем убеждений, распространилась в массе и стала заразительною, особливо между людьми недостаточно или поверхностно образованными, составляющими большинство повсюду. Этою склонностью массы пользуются с успехом политические деятели, пробивающиеся к власти: искусство делать обобщения служит для них самым подручным орудием. Всякое обобщение происходит путем отвлечения: из множества фактов – одни, не идущие к делу, устраняются вовсе, а другие, подходящие, группируются, и из них выводится общая формула. Очевидно, что все достоинство, т.е. правдивость и верность этой формулы, зависит от того, насколько имеют решительной важности те факты, из коих она

извлечена, и насколько ничтожны те факты, кои притом устранены как неподходящие. Быстрота и легкость, с которою делаются в наше время общие выводы, – объясняется крайнею бесцеремонностью в этом процессе подбора подходящих фактов и их обобщения. Отсюда громадный успех политических ораторов и поразительное действие на массу общих фраз, в нее бросаемых. Толпа быстро увлекается общими местами, облеченными в громкие фразы, общими выводами и положениями, не помышляя о проверке их, которая для нее недоступна: так образуется единодушие в мнениях, единодушие мнимое, призрачное, но тем не менее дающее решительные результаты. Это называется – глас народа, с прибавкою – глас Божий. Печальное и жалкое заблуждение! Легкость увлечения общими местами – ведет повсюду к крайней деморализации общественной мысли, к ослаблению политического смысла целой нации. Нынешняя Франция представляет наглядный пример этого ослабления, – но тою же болезнью заражается уже и Англия...

ЦЕРКОВЬ

Чем явственнее означаются в уме отличительные племенные, черты каждого вероисповедания, тем более убеждаешься в том, какое недостижимое и мечтательное дело - объединение вероисповеданий в одном искусственном, надуманном соглашении о догмате, на начале взаимной уступки в частях несущественных. Существенное в каждом вероисповедании едва ли возможно выразить, выяснить на бумаге или в определенной формуле. Самое существенное, самое упорное и драгоценное в церковном веровании неуловимо, недоступно определению, подобно разнообразию света и теней, подобно чувству, сложившемуся из бесконечного ряда последовательных ощущений, представлений и впечатлений. Самое существенное связано и сплетено множеством таких тонких корней с психической природою каждого племени и с общими, сложившимися в нем началами нравственного мирозерцания, что невозможно отделить одно от другого. Разноплеменные и разноцерковные люди могут во многих отношениях при встрече во взаимном общении почувствовать себя братьями и подать друг другу руки; но для того чтобы они почувствовали себя братьями в одном храме, соединились в религиозном общении духа, для этого надобно им долго и много прожить вместе, друг друга понять во всей жизненной обстановке и сплестись между собою в самых внутренних корнях глубины душевной. Так иногда немец, долго проживший в России, бессознательно привыкает веровать по-русски, и в русской церкви чувствует себя дома. Тогда он *входит* к нам, становится одним из наших, и общение его с нами полное, духовное. Но чтобы то или другое общество протестантов, вдалеке от нас стоящее, по слуху судящее об нас, могло, по-книжному или отвлеченному соглашению о догматах и обрядах, соединиться с нами в одну церковь органическим союзом и стать едино с нами по духу, этого и представить себя нельзя. До сих пор не удавалась еще ни одна церковная уния, основанная на соглашении: рано или поздно обнаруживалось фальшивое начало такого союза, и плодом его бывало повсюду умножение не любви, а взаимного отчуждения или даже ненависти.

Сохрани Боже порицать друг друга за веру; пусть каждый верует по-своему, как ему сроднее. Но у каждого есть вера, в которой ему уютно, которая ему по душе, которую он любит; и нельзя не чувствовать, когда подходишь к иной вере, несродной, несочувственной, что здесь - не то, что у нас; здесь неприятно и холодно; здесь не хотел бы жить. Пусть разум говорит отвлеченным рассуждением: ведь они тому же Богу молятся. Чувство не всегда может согласиться с этим рассуждением; иногда чувству кажется, что в чужой церкви как будто не тому Богу молятся.

Многие станут смеяться над таким ощущением, пожалуй, назовут его суеверием, фанатизмом. Напрасно. Ощущение не всегда обманчиво; в нем сказывается иногда истина прямее и вернее, нежели в рассуждении.

В протестантском храме, в протестантском веровании холодно и неприятно русскому человеку. Мало того, если ему дорога вера как жизнь, он чувствует, что назвать этот храм своим для него все равно, что умереть. Вот непосредственное чувство. Но этому чувству много и резонных причин. Вот одна из них, которая особенно поражает своей очевидностью.

В богословской полемике, в спорах между религиями, в совести каждого человека и каждого племени, один из основных вопросов - вопрос о *делах*. Что главное - *дела* или *вера*. Известно, что на этом вопросе препирается доньне

латинское богословие с протестантским. Покойный Хомяков в своих богословских сочинениях прекрасно разъяснил, до какой степени обманчива схоластически-абсолютная постановка этого вопроса. Объединение веры с делом, равно как и отождествление слова с мыслью, дела со словом есть идеал, недостижимый для человеческой природы, как недостижимо все безусловное... идеал, вечно возбуждающий и вечно обличающий верующую душу. Вера без дела мертва; вера, противная делам, мучит человека сознанием внутренней лжи, но в необъятном мире внешности, объемлющем человека, и пред лицом бесконечной вечности что значит *дело* или *всяческие дела* что значат без веры?

Покажи мне *веру твою от дел твоих* - страшный вопрос! Что на него ответить *уверенному*, когда спрашивает его *испытующий*, ищущий познать истину от дела? Положим, что такой вопрос задает протестант православному человеку. Что ответит ему православный? Придется опустить голову. Чувствуется, что показать нечего, что все не прибрано, все не начато, все покрыто обломками. Но через минуту можно поднять голову и сказать: грешные мы люди и показывать нам нечего, да, ведь, и ты не праведный. Но приди к нам сам, поживи с нами: и увидишь нашу веру, и почувешь наше чувство, и, может быть, с нами слюбишься. А дела наши, какие есть, сам увидишь. После такого ответа девяносто девять из ста отойдут от нас с презрительной усмешкой. В сущности все дела только в том, что мы показывать дела свои против веры не умеем, Да и не решаемся.

А они показывают. И умеют показать, и правду сказать, есть им что показать, в совершенном порядке - веками созданные, сохраненные и упроченные дела и учреждения. Смотрите, - говорит католическая церковь, - что я значила и что значу в жизни того общества, которое меня слушает и мне служит, что я создала и что мною держится. Вот дела любви, вот дела веры, вот дела апостольства, вот подвиги мученичества, вот полки верные, как один человек, которые я рассылаю на концы вселенной. Не явно ли, что со мною и в нас благодать пребывает от века и доныне?

Смотрите, - говорит протестантская церковь, - я не терплю лжи, обмана и суеверия. Я привожу дела в соответствие и разум в соглашение с верой. Я освятила верою труд, житейские отношения, семейный быт, верою искореняю праздность и суеверие, водворяю честность, правосудие и общественный порядок. Я учу ежедневно, и учение мое, близкое к жизни, воспитывает целые поколения в привычке к честному труду и в добрых правах. Человечество призвано обновиться учением моих - в добродетели и в правде. Я призвана искоренить мечом слова и дела, разврат и лицемерие повсюду. Не явно ли, что сила Божия со мною, потому что во мне *истинное зрение на религию*?

Протестанты доныне спорят с католиками о догматическом значении *дела* в отношении к вере. Но при совершенной противоположности богословского воззрения на этот предмет, и те и другие ставят *дело* во главу своей религии. Только у латинян дело служит в оправдание, в искупление, во свидетельство о благодати. Лютеране, с другой стороны, смотрят на дело, и в связи с делом на самую религию, с практической точки зрения. Дело как будто обращается у них в *цель*, для которой существует религия, становится оселком, на котором испытывается *правда* религиозная и церковная, и вот пункт, на котором, более чем на всяком другом, наша религиозная мысль расходится с религиозною мыслью протестантизма. Без сомнения, высказанное сейчас воззрение не составляет догматического положения в лютеранской церкви, но им проникнуто все ее учение. Бесспорно, в нем есть весьма важная *практическая* сторона, для *здешней* жизни, для *мира сего*; и оттого многие даже у нас готовы иногда ставить нашей церкви в образец и в идеал церковь протестантскую. Но русский человек, в

глубине верующей души, не примет никогда такого воззрения. *Благочестие на все полезно* и по апостольскому слову; но это лишь одна из *естественных* принадлежностей благочестия. Русский человек не менее другого знает, что жить должно *по вере*, и чувствует, как мало сходна с верою жизнь его; но существо и цель веры своей полагает он не в практической жизни, а в душевном спасении, и любовью церковного союза ищет обнять всех - от живущего по вере праведника до того разбойника, который, несмотря на дела, прощен был в одну минуту.

Это *практическое основание* протестантизма нигде не выражается так явственно, как в церкви англиканской и в духе религиозного воззрения английской нации. Оно и согласуется с характером нации, выработавшимся в ее истории - направлять мысль и деятельность повсюду к практическим целям, стойко и неуклонно добиваться успеха и во всем избирать те пути и способы, которые ближе и вернее ведут к успеху. Это природное стремление необходимо должно было искать себе нравственной основы, выработать для себя нравственную теорию; и немудрено, что нравственные начала нашли для себя санкцию в соответствующем известному характеру религиозном воззрении. Религия бесспорно освящает нравственное начало деятельности, учит, как жить и действовать на земле, требует трудолюбия, честности, правды. Нельзя не согласиться с этим положением. Но от этого положения практический взгляд на религию прямо переходит к вопросу: что же за религия у того, кто живет в праздности, нечестен и лжив, развратен, беспорядочен, не умеет поддерживать себя? Такой человек язычник, а не христианин: лишь тот христианин, кто живет по закону и являет в себе силу закона христианского.

Рассуждение, по-видимому, логически правильное. Но у кого не шевелится в душе вопрос; как же быть на свете и в церкви мытарям и блудницам, тем, которые, по слову Христову, предваряют нередко церковных праведников в царствии Божиим?

Разумеется, странно было бы предполагать, что такой взгляд на религию составляет положительную формулу церковного верования в Англии. Такая *формула* была бы явным отрицанием евангельского учения. Но таков именно дух религиозного воззрения у самых добросовестных и ревностных представителей так называемого "национального церковного учреждения", отстаивающих и восхваляющих англиканскую церковь как первую твердыню государства и как основное выражение духа национального. В английской литературе, как в духовной, так и светской, это воззрение выражается иногда в весьма резких формах, в таких словах, перед коими останавливается с недоумением, похожим на ужас, мысль русского читателя.

Есть сочинение замечательное по глубине и основательности мысли, написанное человеком, очевидно, верующим, глубоко и ревностно преданным своей церкви. Вот что здесь сказано, между прочим, о религии.

"Некоторые религии, очевидно, неблагоприятны чувству общественного долга. Иные не имеют никакого к нему отношения, а из тех религий, которые ему благоприятствуют (таковы в большей или меньшей мере все формы христианской веры), одни действуют на него с особенною, другие с меньшей силой. Можно сказать, что всего могущественнее действуют в этом смысле те религии, в коих господствует над всем образ бесконечно мудрого и могущественного законодателя. Его личное бытие неисследимо для человеческого разума; но он сотворил мир таким, *каков есть мир*, сотворил его *для рода людей благоразумных, твердых и смелых духов* и устойчивых; *для тех*, которые сами небезумны и нетрусливы, и не очень жалуют безумных и трусов, знают твердо, что им нужно, и с решимостью употребляют *все законные средства, чтобы того достигнуть*. Такая-то религия составляет безмолвное, но глубоко

укоренившееся убеждение английской нации, в лучших, солиднейших ее представителях. Они представляют наковальню, о которую избилось уже множество молотов, и избьется еще того больше, не взирая ни на каких энтузиастов и гуманитарных мечтателей". Вот до какого понятия о религии может дойти мысль уверенного англиканца - протестанта. Выписанные слова в сущности содержат в себе прямое извращение евангельского слова; они как будто говорят: *блаженны крепкие и сильные* в деле - им принадлежит царство. Да, скажем мы, царства земное, но не царство небесное. Автор не делает этой оговорки, но не различает земного от небесного. Какая страшная, какая отчаянная доктрина!

Такое настроение *религиозной* мысли бесспорно имело в протестантских странах, и особенно в Англии, величайшее практическое значение, и в этом смысле нельзя не согласиться, что протестантство было сильным и благодетельным двигателем общественного развития у тех племен, коих натуре оно соответствовало, и которые его приняли. Но не очевидно ли, вместе с тем, что некоторые племена по своей натуре, никак не *могут* принять его и ему подчиниться, потому что именно в этом воззрении протестантства не чувствуют жизненного религиозного начала, видят не единство, а раздвоение религиозного сознания, не живую истину, а *конструкцию* мысли и обольщение.

"Горе слабым и падающим! Горе побежденным"! Конечно, здешней жизни это непреложная истина, и правило житейской мудрости говорит каждому: борись, входи в силу и держи в себе силу, если хочешь жить; слабому нет места на свете. Но придавая этому правилу безусловную, как бы догматическую силу религиозном смысле - вот чего наша душа не принимает, как не принимает она сродного протестантству ужасного кальвинского учения о том, что иные от века призваны к добродетели, к славе к спасению и блаженству, а другие от века осуждены, и что бы ни делали в жизни, все влечет их в бездну отчаяния и вечных мучений.

Страшно читать иных английских писателей, у которых с особенной силой звучит эта струна англиканского протестантизма. У Карлейля, например, доходит до восторженного пафоса поклонение силе и таланту победителя и презрение к побежденным. Созерцая своих героев, сильных людей, он чувствует в них воплощение *божественного* и с тонким презрительным юмором говорит о тех слабых и несчастных, неловких и падших, которых раздавила победная колесница. Его герой воплощает в себе идею света и порядка, в мраке и неустройстве космического хаоса; его герой *строит* свою вселенную, и все, что встречается ему на дороге К не умеет ему покориться и служить ему, и не имеет своей силы чтобы побороть его, погибает достойно и праведно. Громадный талант Карлейля обворожает читателя, но тяжело читать его исторические поэмы и видеть, как часто имя Божие применяется им всуе в борьбе сильного со слабыми. У язычников классического периода и у тех возле победной колесницы шел иногда шут, который, служа представителям нравственного начала, должен был преследовать своими шутками не побежденных, а самого победителя.

Всего тяжелее читать Фруда, знаменитого историка английской реформации и самого видного между историками представителя английских национальных начал в церкви и в политике. Карлейль, по крайней мере, поэт; но Фруд говорит спокойным тоном историка, любит диалектику и нет беззакония, которого не оправдал бы он своей диалектикой в пользу любимой идеи; нет лицемерия, которого не построил бы он вправду, доказывая правду реформы и главных ее деятелей. Он стоит непоколебимо, фанатически, на основах англиканского правоверия, и главною основою его полагает сознание долга общественного, преданность государственной идее и закону, и неумолимое преследование порока, преступления, праздности и всего, что называется изменою долгу. Все это прекрасно в деле человеческом; но каково ставить такое

правило в основание и цель религиозного воззрения, если подумаешь, что каждому из этих священных слов - и долгу, и закону, и пороку, и преступлению каждая партия в каждую минуту придает особенное значение, и что между людьми сегодня называют правдою и доблестью, за что завтра казнят, как за ложь и преступление. Для милости, для сострадания не остается места в веровании Фруда: как можно согласить милость с негодованием на то, что считается пороком, преступлением, нарушением закона? Упомянув о страшных казнях, которым подвергались в ту пору так часто и невинные наравне с виноватыми, строгий судья человеческих дел так говорит о своем народе: "Англичане - строгий и суровый народ, они не знают сострадания там, где *нет законной причины* допустить сострадание; напротив того, они исполнены священного и торжественного ужаса к злодеянию - чувство, которое по мере своего развития в душе необходимо закаливает ее и образует железный характер. Строгого нрава человек склонен к нежности тогда лишь, когда остается еще место добру среди зла, и добро еще борется со злом; но в виду совершенного развращения и зла никакое сострадание немыслимо; оно возможно разве только тогда, когда мы в своем сердце смешиваем *преступление с несчастием*".

Какое презрение должен чувствовать автор к русскому человеку, у которого подлинно есть в душе такое смешение, и который искони называет *преступника несчастным*.

Как личный характер, как характер племени, так и характер каждой церкви, в связи с усвоившим ее племенем, иметь и свои достоинства, и свои недостатки. Достоинства протестантизма достаточно выяснились в истории германского и англосаксонского племени. Пуританский дух создал нынешнюю Британию. Протестантское начало привело Германию к силе, к дисциплине и к единству. Но на оборотной стороне его есть такие недостатки, такие стремления Религиозного самосознания, которые не могут быть нам сочувственны. Протестанство - как всякая духовная сила - склонно к падению именно в том, в чем полагает свои коренные духовные основы. Стремясь к абсолютной правде, к очищению верования, к осуществлению верования в жизни, оно слишком склонно уверовать в собственную правду и увлечься до гордого поклонения своей правде и до презрения к чужому верованию, которое *отождествляет с неправдою*. Отсюда, с одной стороны, опасность впасть в лицемерие и фарисейскую гордость. И подлинно, немало слышится из протестантского мира голосов, которые с горечью сознают, что лицемерие составляет язву строгого лютеранства. С другой стороны, начав с проповеди о терпимости, о свободе мысли и верования, протестанство в дальнейшем развитии своем выказало склонность к фанатизму особого рода, к фанатизму гордого разума и самоуверенной праведности перед всеми прочими видами верования. Строгий протестантизм с презрением относится ко всякому верованию, которое представляется ему неочищенным, недуховным, исполненным суеверий и внешних обрядностей, ко всему, что он сам отбросил, как рабские узы, как детскую одежду, как принадлежность невежества. Создав для себя сам кодекс верований и обрядов, он считает свое исповедание исповеданием *избранных, просвещенных и разумных*, и всех держащихся старой церкви склонен считать людьми низшего рода, неумеющими возвыситься до истинного разумения. Это презрительное отношение к прочим верованиям, может быть, незаметно выражается в протестантстве; но оно слишком ощутительно для иноверцев. Никакая религия не свободна от большей или меньшей склонности к фанатизму; но смешно слышать, когда с обвинением в фанатизме обращаются к нам *лютеране*. У нас при терпимости ко всякому верованию, свойственной национальному характеру нашему, встречаются, конечно, отдельные случаи исключительности и узкости церковных воззрений, но никогда

не бывало и не может быть ничего подобного тому презрению, с которым строгий лютеранин смотрит на непонятные для него, но для нас исполненные глубокого духовного значения принадлежности нашей церкви и свойства нашего верования.

II

Ни в чем так явственно, как в церкви, не ощущается различие между общественным духом и складом англосаксонского и, например, русского племени. В английской церкви, сильнее, чем где-либо, является у русского человека такая мысль: много здесь хорошего, но все-таки как я рад, что родился и живу в России. У нас в церкви можно забыть обо всех сословных и общественных различиях, отрешиться от мирского положения, слиться совершенно с народным собранием, перед лицом Бога. Наша церковь большею частью и создана на всенародные деньги, так что рубль от гроша различить невозможно; во всяком случае, церковь наша есть всенародное дело и всенародное достояние. Оттого она всем нам вдвое дороже, что, входя в нее, последний нищий чувствует, совершенно так же, как и первый вельможа, что это его церковь. Церковь - единственное место (какое счастье, что у нас есть такое место!) где последнего бедняка в рубище никто не спросит: зачем ты пришел сюда, и кто ты такой? где богатый не может сказать бедному: твое место не возле меня, а сзади.

Здесь - войдите в церковь, посмотрите на церковное собрание. Оно благоговейно, оно, может быть, торжественно; но это - собрание леди и джентльменов, из которых каждое лицо имеет свое место, ему особенно присвоенное; а богатые люди и знатные в своем околотке имеют места отделенные и украшенные, точно ложи. Можно ли, со стороны глядя, удержаться от мысли, что церковное собрание здесь лишь видоизменение общественного собрания, и что в нем есть место только так называемым в обществе "порядочным людям"? Все молятся по своим книжкам, но как у каждого в руках своя книжка, так видно, что каждый желает быть и перед Богом сам по себе, не теряя своей индивидуальности. Говорят, что в последние 20-30 лет совершилась еще в этом отношении заметная перемена: места в церквях большею частью открытые, т. е. не отгороженные наглухо, и доступ к ним стал свободнее, чем прежде; а в прежнее время, особенно в провинции, и места в церквях устраивались закрытыми или отдельными стойками так, чтобы владелец каждого места мог молиться *спокойно*, уединенно, не смущаясь никаким соседством. Как ясно отражается в этом расположении церковном история здешнего феодального общества, и самая история здешней церковной реформы! Nobility и gentry составляют все и все ведут за собой, потому что всем обладают и все к себе притягивают. Все должно быть куплено или взято с бою, даже право иметь место в церкви. Самое *священнослужение* есть право известного рода, полагаемое в цену. Места пасторские, с правом на известный доход или окладное содержание, составляют в Англии принадлежность вотчинного права, *патронатства*, и выбор на место составляет достояние или частных землевладельцев, или короны, в силу не столько государственного, сколько феодального владельческого права. Оттого и пастор посреди народа, независимо от народа назначенный и независимый от народа в своем содержании, является среди народа тоже в виде князя, свыше поставленного. Церковная должность прежде всего представляется привилегией и достоянием; и стыдно сказать: это достояние служит предметом торга. Места главных священников могут быть сдаваемы за известную цену, сложенную из капитализации дохода, так же как сдаются места стряпчих, нотариусов, маклеров и т. п. В любой английской газете, в особом отделе объявлений о так называемых *preferments*, вы встретите ряд предложений купить место священника, с описанием доходных статей: расхваливается место с его удобствами для жизни, описывается дом, местоположение, означается доход и предлагается цена с

предуведомлением, о нынешний incumbent стар, таких-то лет и, вероятно, недолго будет пользоваться своим положением. Для переговоров указано обращаться туда-то. В Лондоне издается даже особенный журнал с подробным описанием всех статей, угодий и доходов каждого места для сведения и расчета желающих получить его за известную сумму.

Говорят, что в политическом смысле благотельно, когда всякое право, личное или общественное, достается не иначе как с бою. Может быть, всякое иное, только никак не право на молитву общественную в церкви. Не мудрено, что совесть общественная не может удовлетвориться таким церковным устройством, и что Англия страна установленной государственной церкви, классическая страна ученого богословия и прений о вере, стала со времени реформы страню диссентеров всякого рода. Религиозная и молитвенная потребность в массе народной, не находя себе места и удовлетворение, в установленной церкви, стала искать исхода в вольных самоуставных церковных собраниях и в разнообразных сектах. Деление церковного обряда здесь непомерное между жителями самого незначительного местечка. Самая установленная церковь делится на три партии, и сторонники каждой из них (так называемые Высокой, Низкой и Широкой церкви) имеют обыкновенно свою церковь и не ходят в чужую. В небольшой деревне, где не более 500 человек постоянного населения, существует нередко три церкви англиканские и, кроме того, три церкви методистов трех разных; толков, которые, различаясь в очень тонких и капризных подробностях, отрешаются от общения между собой. Особливая церковь - для первоначальных или Веслеевых методистов, потом для конгрегационистов, потом для так называемых библейских христиан: последние те же методисты, но отделились несколько лет тому назад только из-за того, что полагают, в несогласии с прочими, невозможным иметь женатых в звании церковных *евангелистов*. Вот сколько церквей - и капитальных, красивых и обширных церквей в одной деревне! Все эти секты и собрания отличаются особенностями вероучений, иногда очень тонкими и капризными, или совсем дикими; но помимо догматических разностей, во всех выражается одно и то же стремление к вольной всенародной церкви, и многие из них проникнуты ожесточенною ненавистью к установи ленной церкви и к ее служителям. Кроме отдельных сект посреди самой установленной церкви образовалась издавна многочисленная партия во имя вольного церковного общения. Частные люди и отдельные общества употребляют свои средства; для доставления простому народу возможности участвовать в богослужении: для этого приходится строить отдельные церкви или нанимать отдельные помещения, театры, сараи, залы и т. п. Все это движение произвело уже ощутительную реакцию в обычаях самой установленной церкви, побудив ее шире раскрыть свои двери. Но не странно ли, что здесь приходится брать с бою то, что у нас; от начала вольно, как воздух, которым мы дышим?

Как часто случается у нас в России слышать странные речи о, нашей церкви от людей, бывавших за границей, читавших иностранные книги, любящих судить красно с чужого голоса, или просто; от людей наивных, которые увлекаются идеальным представлением мимо действительности. Эти люди не находят меры похвалам англиканской или германской церкви и англиканскому духовенству, не находят меры осуждения нашей церкви и нашему духовенству. Если верить им - там все живая деятельность, а у нас мертвечина, грубость и сон. Там дела, а у нас голая обрядность и бездействие. Немудрено, что многие говорят так. Между людьми ведется, что по платью встречают человека. Говорят: по уму провожают, но, чтоб узнать ум и почувствовать дух, надо много присмотреться и поработать мыслью, а по платью судить нетрудно. Составишь себе готовое впечатление и так потом при нем и останешься. Притом есть много

людей, для которых первое дело, первый и окончательный решитель впечатления - внешнее благоустройство, манера, ловкость, чистота, респектабельность. В этом отношении, конечно, есть на что полюбоваться хотя бы в английской церкви, есть о чем иногда печалиться в нашей. Кому не случалось встречать светское, а иной раз, к сожалению, и духовное лицо, из бывших за границую, с жаром выхваляющее здешнюю простоту церковную и осуждающее нашу родимую "за незрелость". Грустно бывает слушать такие речи, как грустно видеть сына, когда он, прожив в фешенебельном кругу, посреди всех тонкостей столичной жизни, возвращается в деревню, где провел когда-то детство свое, и смотрит с презрением на неприхотливую обстановку и на простые, пожалуй, грубые обычаи родной семьи своей.

Мы удивительно склонны по натуре своей увлекаться прежде всего красивой формой, организацией, внешней конструкцией всякого дела. Отсюда - наша страсть к подражаниям, к перенесению на свою почву тех учреждений и форм, которые поражают нас за границей внешнею стройностью. Но мы забываем при этом или вспоминаем слишком поздно, что всякая форма, исторически образовавшаяся, выросла в истории из исторических условий и есть логический вывод из прошедшего, вызванный *необходимостью*. Истории своей никому нельзя ни переменить, ни обойти; и сама история, со всеми ее явлениями, деятелями, сложившимися формами общественного быта, есть произведение ,духа народного, подобно тому, как история отдельного человека есть в сущности произведение живущего в нем духа. То же самое сказать должно о формах церковного устройства. У всякой формы есть своя духовная подкладка, на которой она выросла; часто прельщаемся мы формой, не видя этой подкладки, но если бы мы ее видели, то иной раз не задумались бы отвергнуть готовую форму при всей ее стройности, и с радостью остались бы при своей старой и грубой форме, или бесформенности, пока своя у нас духовная жизнь не выведет свою для нас форму. Дух, вот что существенно во всяком учреждении, вот что следует охранять дороже всего от кривизны и смешения.

Наша церковь искони имела и донныне сохраняет значение всенародной церкви и дух любви и безличного общения. Верю народ наш держится донныне посреди всех невзгод и бедствий, и если что может поддержать его, укрепить и обновить в дальнейшей истории, так это вера, и одна только вера церковная. Нам говорят, что народ наш невежда в вере своей, исполнен суеверий, страдает от дурных и порочных привычек; что наше духовенство грубо, невежественно, бездейственно, принижено и мало имеет влияния на народ. Все это во многом справедливо, но все это явления не *существенные*, а случайные и временные. Они зависят от многие условий и прежде всего от условий экономических и политических, с изменением коих и явления эти рано или поздно изменятся. Чт же существенно? Что же принадлежит духу? Любовь народа к церкви, свободное сознание полного общения в церкви, понятие церкви как общем достоянии и общем собрании, полнейшее ус ранение сословного различия в церкви и общение народа со служит лями церкви, которые из народа вышли и от него не отделяют ни в житейском быту, ни в добродетелях, *ни в самых недостатках* с народом и стоят и падают. Это такое поле, на котором можно возрастить много добрых плодов, если работать вглубь, заботясь не столько об *улучшении быта*, сколько об *улучшении духа*, не столь о том, чтобы число церквей *не превышало потребности*, сколько о том, чтобы *потребность в церкви не оставалась без удовлетворения*. Нам ли зариться с завистью, издалека и по слуху, хотя бы на протестантскую церковь и ее пастырей? Избави нас Бог дожидаться той поры, когда наши пастыри утвердятся в положении чиновников, поставленных над народом, и станут *князьями* посреди людей своих в обстановке светского

человека, в усложнении потребностей и желаний посреди народной скудости и простоты.

Вдумываясь в жизнь, приходишь к тому заключению, что у каждого человека, в ходе его духовного развития, всего дороже всего необходимее сохранить в себе неприкосновенным простое природное чувство человеческого отношения к людям, правду и свободу духовного представления и движения. Это - неприкосновенный капитал духовной природы, которым душа охраняется обеспечивается от действия всяких *чиновных* форм и искусственных теорий, растлевающих незаметно простое нравственное чувство. Как ни драгоценны во многих отношениях эти формы и теории они могут, привившись к душе, совсем извратить и погубить в не простые и здравые представления и ощущения, спутать понятие правде и неправде, подточить самый корень, на котором вырастает здоровый человек в духовном отношении к миру и к людям. Вот что существенно, и вот, что мы так часто убиваем в себе из-за форм, совсем не существенных, которыми обольщаемся. Сколько из-за этого пропадает у нас и людей и учреждений, фальшив извращенных фальшивым развитием, а между тем в церковном учреждении всего для нас дороже этот корень. Боже избави, чтобы и он когда-нибудь не был у нас подточен криво поставленной церковной реформой.

III

Протестанты ставят нам в упрек формальность и обрядность нашего богослужения; но когда посмотришь на них обряд, то невольно отдаешь и в этом отношении предпочтение нашему обряду. Чувствуешь, как наш обряд прост и величествен в своем глубоком, таинственном значении. Священнослужитель поставлен в нашем обряде так просто, что от него требуется только благоговейное внимание к произносимым словам и совершаемым действиям; в устах его и через него священные слова и обряды сами за себя говорят - и как глубоко и таинственно говорят душе каждого и соединяют все собрание в одну мысль и в одно чувство! Оттого самый простой и неискusstный человек может, не подстраивая себя, не употребляя искусственных усилий, совершать молитвенное действие и вступить в молитвенное общение со всей церковью. Протестантский молитвенный обряд при всей наружной простоте своей требует от священнослужителя молитвенного действия в известном тоне. Оттого в этом обряде только глубоко духовные или очень талантливые люди могут быть просты; остальные же, т. е. огромное большинство, принуждены подстраивать себя и прибегать к аффектации, которая именно в протестантских храмах чаще всего встречается и производит на непривычного человека тягостное впечатление. Когда видишь проповедника, как он, стоя посреди храма, лицом к размещенному чинно на скамьях собранию, произносит молитвы, воздевая глаза к небу, сложив руки в известный всеми употребляемый вид, и придает своей речи неестественную интонацию, становится неловко за него; думается, как должно быть ему неловко! Еще ощутительнее становится неловкость, когда, окончив обряд, он всходит на кафедру и начинает свою длинную проповедь, оборачиваясь от времени до времени назад, чтобы выпить из стакана воды и собраться с духом. И в этой проповеди редко случается слышать действительно живое слово, когда проповедник действительно духовный человек или талант. Говорят большею частью *работники* церковного дела, чрезвычайно натянутым голосом, с крайнею аффектацией, с сильными жестами, поворачиваясь из стороны в сторону, повторяя на разные лады общие, всеми употребляемые фразы. Даже, когда читают по книге, что нередко случается, они прибегают к известным телодвижениям, интонациям и расстановкам. Нередко случается, что проповедник, произнося некоторые слова и фразы, кричит и ударяет кулаком по кафедре, чтобы придать выразительность своей речи... Здесь чувствуешь, как

верно применилась наша церковь к природе человеческой, не поместив проповеди в состав богослужебного обряда. Весь наш обряд, сам по себе, составляет лучшую проповедь, тем более действительную, что всякий принимает ее не как человеческое, а как Божие слово. И церковный идеал нашей проповеди как живого слова есть *учение* веры и любви, от божественных писаний, а не возбуждение чувства, как необходимое действие каждого священнослужителя на собравшихся в церковь для молитвы.

IV

Говорят, что обряд - неважное и второстепенное дело. Но есть обряды и обычаи, от которых отказаться значило бы отречься от самого себя, потому что в них отражается жизнь духовная человека или всего народа, в них сказывается целая душа. В разности обрядов выражается всего явственнее коренная и глубокая разность духовного представления, таящаяся в бессознательных сферах духовной жизни, та самая разность, которая препятствует слиянию или полноте взаимного сочувствия между разноплеменными народами и составляет основную причину разности церквей и вероисповеданий. Отрицать, с отвлеченной, космополитической точки зрения, действие этой притягательной или отталкивающей силы, приравнивая ее предрассудку, значило бы то же, что отрицать силу сродства, действующую в личных между людьми отношениях.

Как знаменательна, например, у разных народов разница в погребальном обряде и в обращении с телом покойника! Южный человек, итальянец, бежит от своего мертвеца, спешит как можно скорее очистить от него дом свой и предоставляет посторонним заботу о его погребении. Напротив того, у нас в России характера народная черта - религиозное отношение к мертвому телу, исполненное любви, нежности и благоговения. Из глубины веков отзывается до нашего времени, исполненный поэтических образов движений, плач над покойником, превращаясь, с принятием новых религиозных обрядов, в торжественную церковную молитву. Нигде в мире, кроме нашей страны, погребальный обычай и обряд выработался до такой глубокой, можно сказать, виртуозности, которой он достигает у нас; и нет сомнения, что в этом его складе отразился наш народный характер, с особенным, присущим нашей натуре, мировоззрением. Ужасны и отвратительны черты смерти повсюду, но мы одеваем их благолепным покровом, мы окружав их торжественною тишиною молитвенного созерцания, мы поем над ними песнь, в которой ужас пораженной природы сливается воедино с любовью, надеждой и благоговейной верой. Мы не бежим своего покойника, мы украшаем его в гробе, и нас тянет к этому гробу взглянуть в черты духа, оставившего свое жилище; поклоняемся телу и не отказываемся давать ему последнее целование, и стоим над ним три дня и три ночи с чтением, с молением с церковной молитвой. Погребальные молитвы наши исполнены красоты и величия; они продолжительны и не спешат отдать земле тело, тронутое тлением, и когда слышишь их, кажется, не только произносится над гробом последнее благословение, но совершает вокруг него великое церковное торжество в самую торжественную минуту бытия человеческого! Как понятна и как любезна эта торжественность для русской души! Но иностранец редко понимает ее, потому что она - совсем ему чужая. У нас чувство любви пораженное смертью, расширяется в погребальном обряде; у него оно болезненно сжимается от того же обряда и поражается одним ужасом.

Немец-лютеранин, живший в Берлине, потерял в России горячо любимую сестру православную. Когда он приехал к нам накануне погребения и увидел любимую сестру, лежащую в гробе, ужас поразил его, сердце его сжалось, и видно было, что чувство любви и благоговения уступило в нем место отвращению, с которым он присутствовал при прощании с мертвым телом и

должен был сам принять в нем участие... В этом, как и во многом другом, немец не может понять нас, покуда не поживет с нами и не войдет в глубину духовной нашей жизни. От этой же, кажется, причины ничто столько не возмущает лютеранина в нашей церкви, как поклонение св. мощам, которое для нас самих, но природе нашей, кажется так просто и естественно, когда мы и своим покойникам кланяемся и их тело обнимаем и чувствуем в погребении. Он, не живя нашею жизнью, не видит в этом чувствовании ничего, кроме дикого суеверия, а для нас - это движение и дело любви, самое природное и простое.

Трудно ему понять нас, так же как нам дико и противно слышать о возникшей недавно в германском и в английском обществе агитации, требующей введения нового погребального обряда. Они хотят, чтобы мертвые не предавались земле, а сжигались в особо устроенных печах, и требуют этого с утилитарной и гигиенической точки зрения. Пропаганда эта усиливается, собираются митинги, составляются общества, устраиваются на счет частных лиц усовершенствованные печи, производятся химические опыты, сочиняются траурные марши, которыми должно сопровождаться сжигание... Голоса растут, крики усиливаются во имя науки, во имя просвещения, во имя блага общественного. Из какого дальнего мира, из какого быта доносятся до нас эти звуки - и какой этот мир чужой для нас, какой неприятный и холодный! Нет, не дай Бог умереть в том краю, на чужбине, вдали от матери сырой земли русской!

V

Кто русский человек - душой и обычаем, тот понимает, что значит храм Божий, что значит церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым, чувствовать и уважать потребность религиозного чувства; мало для того, чтобы уразуметь смысл церкви для русского народа и полюбить эту церковь как свою, родную. Надо жить народною жизнью, надо молиться заодно с народом, в одном церковном собрании, чувствовать одно с народом биение сердца, проникнутого единым торжеством, единым словом и пением. Оттого многие, знающие церковь только по домашним храмам, где собирается избранная и наряженная публика, не имеют истинного понимания своей церкви и настоящего вкуса церковного, и смотрят иногда равнодушно или превратно в церковном обычае и служении на то, что для народа особенно дорого и что в его понятии составляет красоту церковную.

Православная церковь красна народом. Как войдешь в нее, так почувствуешь, что в ней все едино, все народом осмыслено и народом держится. Войдите в католический храм, как в нем все кажется пусто, холодно, искусственно православному собранию. Священник служит и читает сам по себе, как бы поверх народа и отлученный от народа. Он сам по себе молится по своей книжке народ молится по своим, приходит и уходит, совершив свои моления и дождавшись того или другого церковного действия. На алтаре совершается священнодействие; народ присутствует лишь при нем но как будто не содействует ему общей молитвой. Обряд не говорит нашему чувству, и мы чувствуем, что красота, какая может бы в нем, не наша красота, а чужая. Все движения обряда, механически разложенные, кажутся нам странными, холодными, невыразительными; очертания, образы одежды - неблагообразными; звуки церковного речитатива - нестройными и бездушными; пение на чужом языке, в котором не распознаешь слов, - не гимном народного собрания, не воплем, льющим из души, но концертом, искусственно устроенным, который покрывает собою богослужение, но не сливается с ним. Душа наша тоскует здесь по своей церкви, как тоскует между чужими по родине. То ли дело у нас: вот красота неописанная, красота, понятная русскому человеку, красота, за которую он душу готов положить, так он ее любит. Русское церковное пение как народная песнь льется широкою, вольною струей из

народной груди, и чем оно вольнее, тем полнее говорит сердцу. Напевы у нас одинаковые с греками, но русский народ иначе поет их, потому что положил в них свою русскую душу. Кто хочет послушать, как эта душа сказывается, тому надобно идти не туда где орудуют голосами знаменитые хоры и капеллы, где исполняет музыка новых композиторов и справляется обиход по новым официальным переложениям. Ему надо слушать пение в благоустроенном монастыре, или в одной из тех приходских церквей, где сложилось добрым порядком хоровое пение; там услышит он, как широким, вольным потоком выливается праздничный ирмос из русской груди, какой торжественный поэмой выпевается догматик, слагается стихира с канонархом, каким одушевлением радостью проникнут канон Пасхи или Рождества Христова. Тут оглянемся и увидим, как отзывается каждое слово песни в народном собрании как блестит оно в поднятых взорах, носится над склоненными головами, отражается в припевах, несущихся отовсюду, потому что всякому церковному человеку знакомы с детства и слова, и напев и во всяком душа поет, когда он их слышит. Богослужение стройно *истовое* - действительно праздник русскому человеку, и вне церкви душа хранит глубокое ощущение, которое отражается в ней, даже при воспоминании о том или другом моменте; это русская душа привыкшая к церкви и во всякую минуту готовая воспрянуть, когда внутри ее послышится песнь пасхального или рождественского канона, с мыслью о светлой заутрене, или любимый напев праздничного ирмоса, или "Всемирная слава" с ее потрясающим "Держайте". Подлинно, это те звуки, о которых сказал поэт, что им

...без волненья
Внимать невозможно...
Не встретить ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово,
Но в храме, средь боя,
И где я ни буду,
Услышав его, я
Узнаю повсюду...

А у того, кто с детства привык к этим словам и звукам, сколько от них поднимается всякий раз воспоминаний и образов из той великой поэмы прошлого, которую каждый прожил и каждый носит в себе... Счастлив, кто привык с детства к этим словам, звукам и образам, кто в них нашел красоту и стремится к ней, и жить без нее не может, кому все в них понятно, все родное, все возвышает душу из пыли и грязи житейской, кто в них находит и собирает растерянную по углам жизнь свою, разбросанное по дорогам свое счастье. Счастлив, кого с детства добрые и благочестивые родители приучили к храму Божию и ставили в нем посреди народа молиться всенародной молитвой, праздновать всенародному празднику. Они собрали ему сокровище на целую жизнь, они ввели его подлинно в разум духа народного и в любовь сердца народного, сделав и для него церковь родным домом и местом полного, чистого и истинного соединения с народом.

Что же сказать о множестве затерянных в глубине лесов и в широте полей наших храмов, где народ тупо стоит в церкви, ничего не понимая, под козлогласованием дьячка или бормотанием клирика?

Увы! не церковь повинна в этой тупости и не бедный народ повинен, повинен ленивый и несмыслящий служитель церкви; повинна власть церковная, невнимательно и равнодушно распределяющая служителей церкви; повинна, по местам, скудость и беспомощность народная. Благо тому человеку, в ком зажжется на ту пору искра любви и ревность о жизни духовной и кто успеет вывести заброшенную церковь в свете благолепия и пения. Подлинно, он осияет

светом страну и сень смертную, он воскресит умерших и поверженных, спасет души от смерти и покроет множество грехов... Оттого-то русский человек так охотно и так много жертвует на церковное строение, на созидание и украшение храмов. Как криво судят те, кто осуждает его за это рвение, а таких голосов слышится уже ныне немало. Это щедрое рвение приписывают то к грубости и невежеству, то к ханжеству и лицемерию. Говорят: не лучше ли было бы употребить эти деньги на "образование народное", на школы, на благотворительные учреждения? И на то, и на другое жертвуется своим чередом, но то жертва совсем иная, и благочестивый русский человек со здравым русским смыслом не один раз призадумается прежде, чем развяжет кошель свой на щедрую дачу для формально образовательных и благотворительных Учреждений.

То ли дело Церковь Божия! Она сама за себя говорит; она - живое, всенародное учреждение. В ней одной и живому, и умершему отрадно. В ней одной всем легко, свободно, в ней душа всяческая от мала до велика веселится и радуется, и празднует от тяжелой страды; в ней и белому и серому человеку, и богатому и бедно одно место. Разукрашена она паче царской палаты - дом Божий а всякий из малых и бедных стоит в ней, как в своем дому; каждый может назвать церковь своею, потому что церковь на народи рубли и, больше того, на народные гроши строена и народ держится. Всем в ней уют и молитва с утешением, и то учен которое дороже всего русскому человеку. Вот что бессознательно и сознательно сразу сказывается в русской душе о церкви и заставляет русского человека жертвовать на церковь без оглядки без рассуждения. Русский человек чувствует, что в этом деле ошибается и дает верно и свято на верное и святое дело.

ЦЕРКОВЬ

Чем явственнее означаются в уме отличительные племенные черты каждого вероисповедания, тем более убеждаешься в том, какое недостижимое и мечтательное дело — объединение вероисповеданий в одном искусственном, надуманном соглашении о догмате, на начале взаимной уступки в частях несущественных. Существенное в каждом вероисповедании едва ли возможно выразить, выяснить на бумаге или в определенной формуле. Самое существенное, самое упорное и драгоценное в церковном веровании — неуловимо, недоступно определению, подобно разнообразию света и теней подобно чувству, сложившемуся из бесконечного ряда последовательных ощущений, представлений и впечатлений. Самое существенное — связано и сплетено множеством таких тонких корней с психической природой каждого племени и с общими, сложившимися в нем, началами нравственного мирозерцания, что невозможно отделить одно от другого. Разноплеменные и разноцерковные люди могут, во многих отношениях, при встрече, во взаимном общении, почувствовать себя братьями и подать друг другу руки; но для того, чтоб они почувствовали себя братьями в одном храме, соединились в религиозном общении духа, — для этого надобно им долго и много прожить вместе, друг друга понять во всей жизненной обстановке и сплестись между собой в самых внутренних корнях глубины душевной. Так иногда немец, долго проживший в России, бессознательно привыкает веровать по-русски, и в русской церкви чувствует себя дома. Тогда он *входит* к нам, становится одним из наших, и общение его с нами — полное, духовное. Но чтобы то или другое общество протестантов, вдалеке от нас стоящее, по слуху судящее об нас, могло, по книжному или отвлеченному соглашению о догматах и обрядах, соединиться с нами в одну церковь органическим союзом и стать единой с нами по духу, — этого и представить себе нельзя. До сих пор не удавалась еще ни одна церковная уния, основанная на соглашении: рано или поздно обнаруживалось фальшивое начало такого союза, и плодом его бывало повсюду умножение не любви, а взаимного отчуждения или даже ненависти.

Сохрани Боже порицать друг друга за веру; пусть каждый верует по-своему, как ему сроднее. Но у каждого есть вера, в которой ему приятно, которая ему по душе, которую он любит; и нельзя не чувствовать, когда подходишь к иной вере, несродной, несочувственной, что здесь — не то, что у нас;

здесь неприятно и холодно; здесь не хотел бы жить. Пусть разум говорит отвлеченным рассуждением: ведь, они тому же Богу молятся. Чувство не всегда может согласиться с этим рассуждением; иногда чувству кажется, что в чужой церкви как будто не тому Богу молятся.

Многие станут смеяться над таким ощущением, пожалуй, назовут его суеверием, фанатизмом. Напрасно. Ощущение не всегда обманчиво; в нем сказывается иногда истина прямее и вернее, нежели в рассуждении.

В протестантском храме, в протестантском веровании холодно и неприятно русскому человеку. Мало того, если ему дорога вера как жизнь, — он чувствует, что назвать этот храм своим — для него все равно что умереть. Вот непосредственное чувство. Но этому чувству много и резонных причин. Вот одна из них, которая особенно поражает своей очевидностью.

В богословской полемике, в спорах между религиями, в совести каждого человека и каждого племени один из основных вопросов — вопрос о *делах*. Что главное — *дело* или *вера*? Известно, что на этом вопросе препирается донныне латинское богословие с

протестантским. Покойный Хомяков в своих богословских сочинениях прекрасно разъяснил, до какой степени обманчива схоластически абсолютная постановка этого вопроса. Объединение веры с делом, равно как и отождествление слова с мыслью, дела с словом — есть идеал недостижимый для человеческой природы, как недостижимо все безусловное... идеал, вечно возбуждающий и вечно обличающий верующую душу. Вера без дел мертва; вера, противная делам, мучит человека сознанием внутренней лжи, в необъятном мире внешности, объемлющем человека, и пред лицом бесконечной вечности — что значит *дело* или *всяческие дела* что значат — без веры?

Покажи мне *веру твою* от *дел твоих* - вот страшный вопрос! Что на него ответит! *уверенному*, когда спрашивает его *ищущий*, ищущий познать истину от дела? Положим, что такой вопрос задает протестант православному человеку. Что ответит ему православный? — Придется опустить голову. Чувствуется, что показать нечего, все не прибрано, все не начато, все под обломками. Но через минуту можно поднять голову и сказать: грешные мы люди и показывать нам нечего, да, ведь, и ты не праведный. Но приди к нам сам, поживи с нами: и увидишь нашу веру, и почувешь наше чувство, и, может быть, с нами полюбишься. А дела наши, какие есть, увидишь. После такого ответа девяносто девять из ста отойдут от нас с презрительной усмешкой. В сущности все дело только в том, что мы показывать дела свои против веры не умеем, да и не решаемся.

А они показывают. И умеют показать, и правду сказать, есть им что показать, в совершенном порядке — веками созданные, сохраненные и упроченные дела и учреждения. Смотрите, — говорит католическая церковь, — что я значила и что значу в жизни того общества, которое меня слушает и мне служит, что я создала и что мною держится. Вот дела любви, вот дела веры, вот дела апостольства, вот подвиги мученичества, вот полки верные, как один человек, которые я рассылаю на концы вселенной. Не ясно ли, что со мною и в нас благодать пребывает от века и донныне?

Смотрите, — говорит протестантская церковь, — я не терплю лжи, обмана и суеверия. Я привожу дела в соответствие и разум . в соглашение с верой. Я освятила верою труд, житейские отношения, семейный быт, верою искореняю праздность и суеверие, водворяя честность, правосудие и общественный порядок. Я учу ежедневно, и учение мое, близкое к жизни, воспитывает целые поколения в привычке к честному труду и в добрых нравах. Человечество призвано обновиться учением моим — в добродетели и в правде. Я призвана искоренить мечом 'слова и дела разврат и лицемерие повсюду. Не явно ли, что сила Божия со мною, потому что во мне *истинное воззрение на религию*?

Протестанты донныне спорят с католиками о догматическом значении *дела* в отношении к вере. Но при совершенной противоположности богословского воззрения на этот предмет, и те и другие ставят *дело во* главу своей религии. Только у латинян дело служит в оправдание, в искупление, во свидетельство о благодати. Лютеране, с другой стороны, смотрят на дело, и в связи с делом, на самую религию, с практической точки зрения. Дело как будто обращается у них в *цель*, для которой существует религия, становится оселком, на котором испытывается *правда* религиозная и церковная, и вот пункт, на котором, более чем на всяком другом, наша религиозная мысль расходится с религиозной мыслью протестантизма. Без сомнения, высказанное сейчас воззрение не составляет догматического положения в лютеранской церкви, ибо им проникнуто все ее учение. Бесспорно в нем есть весьма важная *практическая* сторона, для *здесьней* жизни, для *мира* сезрий и оттого многие, даже у нас, готовы иногда, ставить нашей церкви в образец и в идеал церковь протестантскую. Но русский человек, в глубине верующей души, не примет никогда такого воззрения. *Благочестие на все полезно* — и по апостольскому слову, но это лишь одна из *естественных* принадлежностей благочестия. Русский человек не менее другого знает, что жить должно по *вере*, и чувствует, как мало сходна с верой жизнь его; но существо и цель веры своей полагает он не в практической жизни, а в душевном спасении, и любовью церковного союза ищет обнять всех — от живущего по вере праведника до того разбойника, который, несмотря на дела, прощен был в одну минуту.

Это *практическое основание* протестантизма нигде не выражается так явно, как в церкви англиканской и в духе религиозного воззрения английской нации. Оно и согласуется с характером нации, выработавшимся в ее истории - направлять мысль и деятельность повсюду к практическим целям, стойко и неуклонно добиваться успеха и во всем избирать те пути и способы, которые ближе и вернее ведут к успеху. Это природное стремление необходимо должно было искать себе нравственной основы, выработать для себя нравственную теорию; и немудрено, что нравственные начала нашли для себя санкцию в соответствующем известному характеру религиозном воззрении. Религия бесспорно освящает нравственное начало деятельности, учит, как жить и действовать на земле, требует трудолюбия, честности, правды. Нельзя не согласиться с этим положением. Но от этого положения практический взгляд на религию прямо переходит к вопросу: что же за религия у того, кто живет в праздности, нечестен и лжив, развратен, беспорядочен, не умеет поддержать себя? Такой человек язычник, а не Христианин; лишь тот христианин, кто живет по закону и являет в себе силу закона христианского.

Рассуждение, по-видимому, логически правильное. Но у кого не шевелится в душе вопрос: как же быть на свете и в Церкви мытарям и блудницам, тем, которые, по слову Христову, предваряют нередко церковных праведников в Царствии Божием? Разумеется, странно было бы предполагать, что такой взгляд на религию составляет положительную формулу церковного верования в Англии. Такая *формула* была бы явным отрицанием евангельского учения. Но таков именно дух религиозного воззрения у самых добросовестных и ревностных представителей так называемого «национального церковного учреждения», отстаивающих и восхваляющих англиканскую церковь, «как первую твердыню государства — *bulwark of State* — и как основное выражение духа национального. В английской литературе, как в духовной, так и светской, это воззрение выражается иногда в весьма резких формах, в таких словах, пред коими останавливается с недоумением, похожим на ужас, мысль русского читателя.

Есть сочинение замечательное по глубине и основательности мысли, написанное человеком очевидно верующим, глубоко и ревностно преданным своей церкви. Вот что здесь сказано между прочим о религии.

«Некоторые религии очевидно не благоприятны чувству общественного долга. Иные не имеют никакого к нему отношения, а из тех религий, которые ему благоприятствуют (таковы в большей или меньшей мере все формы христианской веры) одни действуют на него с особенной, другие с меньшей силой. Можно сказать, что всего могущественнее действуют в этом смысле те религии, в коих господствует над всем образ бесконечно мудрого и могущественного законодателя. Его личное бытие неисследимо, для человеческого разума; но он сотворил мир • таким, *каков есть мир*, сотворил его *для рода людей благоразумных, твердых и смелых у духом* и устойчивых; *для тех*, которые сами безумны и нетрусливы, и не очень жалуют; безумных и трусов, знают твердо, что им нужно, и с решимостью употребляют *все законные средства, чтобы того достигнуть*. *Такая-то религия составляет безмолвное, но глубоко укоренившееся убеждение английской нации*, в лучших, солиднейших ее представителях. Они представляют наковальню, о которую избилось уже множество молотов, и избьется еще того больше, невзирая ни на каких энтузиастов и гуманитарных мечтателей» (Stephen. Liberty, legality, fraternity). Вот до какого понятия о религии может дойти мысль уверенного англиканца-протестанта. Выписанные слова в сущности содержат в себе прямое извращение евангельского слова; они как будто говорят: *блаженны крепкие и сильные* в деле: им принадлежит царство. Да, скажем мы: — царство земное, но не царство небесное. Автор не делает, этой оговорки, он не различает земного от небесного. Какая страшная, какая отчаянная доктрина!

Такое настроение *религиозной* мысли бесспорно имело в протестантских странах, и особенно в Англии, величайшее практическое значение, и в этом смысле нельзя не согласиться, что протестантство было сильным и благотворным двигателем общественного развития у тех племен, коих натуре оно соответствовало, и которые его

приняли. Но не очевидно ли, вместе с тем, что некоторые племена, по своей натуре, никак не *могут* принять его и ему подчиниться, потому что именно в этом воззрении протестантизма не чувствуют жизненного религиозного начала, видят не единство, а раздвоение религиозного сознания, не живую истину, а *конструкцию* мысли и оболщания.

«Горе слабым и падающим! Горе побежденным!» Конечно, в здешней жизни это непреложная истина, и правило житейской мудрости говорит каждому: борись, входи в силу и держи в себе силу, если хочешь жить; слабому нет места на свете.. Но придавать этому правилу безусловную, как бы догматическую силу в религиозном смысле — вот чего наша душа не принимает, как не принимает она сродного протестантству ужасного кальвинского учения о том, что иные от века призваны к добродетели, к славе, к спасению и блаженству, а другие от века осуждены, и что бы ни делали в жизни, все влечет их в бездну отчаяния и вечных мучений.

Страшно читать иных английских писателей, у которых с особенной силой звучит эта струна англиканского протестантизма. У Карлейля, например, доходит до восторженного пафоса поклонение силе и таланту победителя и презрение к побежденным. Созерцая своих героев, сильных людей, овичествует в них воплощение *божественного* и с тонким презрительным юмором говорит о тех слабых и несчастных, неловких и падших, которых раздавила победная колесница. Его герой воплощает в себе идею света и порядка, в мраке и неустройстве космического хаоса; его герой *строит* свою вселенную, и все что встречается ему на дороге и не умеет ему покориться и служить ему, и не имеет своей силы, чтобы побороть его, погибает достойно и праведно. Громадный талант Карлейля обвораживает читателя, но тяжело читать его исторические поэмы и видеть, как часто имя Божие применяется им всуе в борьбе сильного со слабыми. У язычников классического периода — и у тех возле победной колесницы шел иногда шут, который, служа представителем нравственного начала, должен был преследовать своими •шутками не побежденных, а самого победителя.

Всего тяжелее читать Фруда, знамени того историка английской реформации и самого видного, между историками, представителя английских национальных начал в церкви и в политике. Карлейль, но крайней мере, поэт; но Фруд говорит спокойным тоном историка, любит диалектику — и нет беззакония, которого не оправдал бы он своей диалектикой в пользу любимой идеи; нет лицемерия, которого не построил бы он в правду, доказывая правду реформы и главных ее деятелей. Он стоит непоколебимо, фанатически, на основах англиканского правоверия, и главной основой его полагает сознание долга общественного, преданность государственной идее и закону,— и неумолимое преследование порока, преступления, праздности и всего, что называется изменой долгу. Все это прекрасно в деле человеческом; но каково ставить такое правило в основание и цель религиозного воззрения, если подумаешь, что каждому из этих священных слов — и долгу, и закону, и пороку, и преступлению каждая партия в каждую минуту придает особенное значение, и что между людьми сегодня называют правдой и доблестью, за то завтра казнят, как за ложь и преступление. Для милости, для сострадания не остается места в веровании Фруда, как можно согласить милость с негодованием на то, что считается пороком, преступлением, нарушением закона? Упомянув о страшных казнях, которым подвергались в ту пору так часто и невинные, наравне с виноватыми, строгий судья человеческих дел так говорит о своем народе: «англичане — строгий и суровый народ — они не знают; сострадания там, где *нет законной причины* допустить сострадание; напротив того, они исполнены священного и торжественного ужаса к злодеянию — чувство, которое, той мере своего развития в душе, необходимо, закаливает ее и образует железный характер; строгого нрава человек склонен к нежности тогда лишь, когда остается еще место добру посреди зла, и добро еще борется со злом, но ввиду совершенного развращения и зла никакое сострадание немислимо; оно возможно разве только тогда, когда мы в своем сердце смешиваем *преступление с несчастьем*.

Какое презрение должен чувствовать автор к русскому человеку, у которого под-

линно есть в душе такое смешение, и который искони называет *преступника несчастным*.

Как личный характер, как характер племени, так и характер каждой церкви, в связи с усвоившим ее племенем, имеет и свои достоинства, и свои недостатки. Достоинства протестантизма достаточно выяснились в истории германского и англосаксонского племени. Пуританский дух создал нынешнюю Британию. Протестантское начало привело Германию к силе, к дисциплине и к единству. Но на оборотной стороне его есть такие недостатки, такие стремления религиозного самосознания, которые не могут быть нам сочувственны. Протестантство — как всякая духовная сила — склонно к падению именно в том, в чем полагает свои коренные духовные основы. Стремясь к абсолютной правде, к очищению верования, к осуществлению верования в жизни, оно слишком склонно уверовать в собственную правду и увлечься до гордого поклонения своей правде и до презрения к чужому верованию, которое *отождествляет с неправдою*. Отсюда, с одной стороны, опасность впасть в лицемерие и фарисейскую гордость. И подлинно, немало слышится из протестантского мира голосов, которые с горечью сознают, что лицемерие составляет язву строгого лютеранства. С одной стороны, начав с проповеди о терпимости, о свободе мысли и верования, протестантство в дальнейшем развитии своем выказало склонность к фанатизму особого рода, — к фанатизму гордого разума и самоуверенной праведности перед всеми прочими видами верования. Строгий протестантизм с презрением относится ко всякому верованию, которое представляется ему неочищенным, недуховным, исполненным суеверий и внешних обрядностей, ко всему» что он сам отбросил, как рабские узы, как детскую одежду, как принадлежность невежества. Создав для себя сам кодекс верований и обрядов, он считает свое исповедание исповеданием *избранных, просвещенных и разумных*, и всех держащихся старой церкви склонен считать людьми низшего рода, не умеющими возвыситься до истинного разумения. Это презрительное отношение к прочим верованиям, может быть, несознательно выражается в протестантстве; но оно слишком ощутительно для иноверцев. Никакая религия не свободна от большей или меньшей склонности к фанатизму; но смешно слышать, когда с обвинением в фанатизма обращаются к нам *лютеране*. У нас, при терпимости ко всякому верованию, *свойственной* национальному характеру нашему встречаются, конечно, отдельные случаи исключительности и узости церковных воззрений, но никогда не бывало и не можете быть ничего подобного тому презрению, с которым строгий лютеранин смотрит на непонятные для него, но для нас исполненные глубокого духовного значения принадлежности нашей церкви и свойства нашего верования.

Ни в чем так явственно, как в церкви, не ощущается различие между общественным духом и складом англосаксонского и, например, русского племени. В английской церкви сильнее, чем где-либо, является у русского человека такая мысль: много здесь хорошего, но все-таки как я рад, что родился и живу в России. У нас в церкви можно забыть обо всех сословных и общественных различиях, отрешиться от мирского положения, слиться совершенно с народным собранием перед лицом Бога. Наша церковь большей частью и создана на всенародные деньги, так что рубль от гроша различить невозможно; во всяком случае, церковь наша есть всенародное дело и всенародное достояние. Оттого она всем нам вдвое дороже, что, входя в нее, последний нищий чувствует, совершенно так же, как и первый вельможа, что это *его* церковь. Церковь — единственное место (какое счастье, что у нас есть такое место!), где последнего бедняка в рубище (никто не спросит: зачем ты пришел сюда, и кто ты такой? где богатый не может сказать бедному: твое место не возле меня, а сзади. Здесь — войдите в церковь, посмотрите на церковное собрание. Оно благоговейно, оно, может быть, торжественно; но это — собрание леди и джентльменов, из которых каждое лицо имеет свое место, ему особливо присвоенное, а богатые люди и важные в своем околотке — имеют места отделенные и украшенные, точно ложи. Можно ли, со стороны глядя, удержаться от мысли, что церковное собрание здесь лишь видоизменение общественного собрания, и что в нем есть место только так называемым в обществе «порядочным людям»? Все молятся по своим книжкам, но как у каждого в руках своя книжка, так видно, что каждый желает быть и перед Богом — сам по себе, не теряя своей

индивидуальности. Говорят, что в последние 20—30 лет совершилась еще в этом отношении заметная перемена; места в церкви большей частью открытые, т. е. не отгороженные наглухо, и доступ к ним стал свободнее, чем прежде; а в прежнее время, особливо в провинции, и места в церквах устраивались закрытыми или отдельными стойками так, чтобы владелец каждого места мог молиться *спокойно*, уединенно, не смущаясь никаким соседством. Как ясно отражается в этом расположении церковном история здешнего феодального общества, и сама история здешней церковной реформы! Nobility и gentry составляют все и все ведут за собой, потому что всем обладают и все к себе притягивают. Все должно быть куплено или взято с бою, даже право иметь место в церкви. Самое *священнослужение* — есть право известного рода, полагаемое в цену. Места пасторские, с правом на известный доход или окладное содержание, составляют в Англии принадлежность вотчинного права, *патронатства*, и выбор на место составляет достояние — или частных землевладельцев, или короны, в силу не столько государственного, сколько феодального владельческого права. Оттого и пастор, посреди народа, независимо от народа назначенный и независимый от народа в своем содержании, является среди народа тоже в виде князя, свыше поставленного. Церковная должность прежде всего представляется привилегией (*preferment*) и достоянием; и стыдно сказать: это достояние служит предметом торга. Места главных священников (*incumbents*) могут быть сдаваемы за известную цену, сложенную из капитализации дохода, так же как сдаются места стряпчих, нотариусов, маклеров и т. п. В любой английской газете, в особом отделе объявлений о так называемых *preferments*, вы встретите ряд предложений купить место священника, с описанием доходных статей: расхваливается место с его удобствами для жизни, описывается дом, местоположение, означается доход и предлагается цена с предупреждением, что нынешний *incumbent* стар, таких-то лет, и, вероятно, недолго будет пользоваться своим положением. Для переговоров указано обращаться туда-то. В Лондоне издается даже особенный журнал («*The Church preferment registrar*»), с подробным описанием всех статей, угодий и доходов каждого места, для сведения и расчета желающих получить его за известную сумму.

Говорят, что в политическом смысле благодетельно, когда всякое право, личное или общественное, достается не иначе как с бою. Может быть, всякое иное, только никак не право на молитву общественную в церкви.

Не мудрено, что совесть общественная не может удовлетвориться таким церковным устройством, и что Англия,— страна установленной государственной церкви, классическая страна ученого богословия и прений о вере, - стала со времени реформы страной диссептеров всякого рода. Религиозная и молитвенная потребность в массе народной, не находя себе места и удовлетворения в установленной церкви, стала искать исхода в вольных самоуставных церковных собраниях и в разнообразных сектах. Деление церковного обряда здесь непомерное между жителями самого незначительного местечка. Самая установленная церковь делится на три партии, и сторонники каждой из них (так называемые Высокой, Низкой и Широкой церкви) имеют обыкновенно свою церковь и не ходят в чужую. В небольшой деревне, где не более 500 человек постоянного населения, существуют нередко три церкви англиканские и, кроме того, три церкви методистов трех разных толков, которые, различаясь в очень тонких и капризных подробностях, отрешаются от общения между собой. Особливая церковь — для первоначальных или Веслеевых методистов, потом для конгрегационистов, потом для так называемых библейских христиан: последние те же методисты, но отделились несколько лет тому назад только из-за того, что полагают, г в несогласии с прочими, невозможным иметь женатых в звании церковных евангелистов. Вот сколько церквей — и капитальных, красивых и обширных церквей в одной деревне! Все эти секты и собрания отличаются особенностями вероучений, иногда очень тонкими и капризными, или совсем дикими, но помимо догматических разностей, во всех выражается одно и то же стремление к вольной всенародной церкви, и многие из них проникнуты ожесточенной ненавистью к установленной церкви и к ее служителям. Кроме отдельных сект посреди самой установленной церкви образовалась издавна многочисленная партия во имя

вольного церковного общения — free church move me nil. Частные люди и отдельные общества употребляют свои средства для доставления простому народу возможности участвовать в богослужении: для этого приходится строить отдельные церкви, или нанимать отдельные помещения, театры, сараи, залы и т. п. это движение произвело уже ощутительную реакцию в обычаях самой установленной церкви, побудив ее шире раскрыть свои двери. Но не странно ли, что здесь приходится брать с собою то, что у нас от начала вольно как воздух, которым мы дышим?

Как часто случается у нас в России слышать странные речи о нашей церкви от людей, бывавших за границей, читавших иностранные книги, любящих судить красно с чужого голоса, или просто от людей наивных, которые увлекаются идеальным представлением (мимо действительности). Эти люди не находят меры похвалам англиканской или германской церкви и англиканскому духовенству, не находят меры осуждения нашей церкви и нашему духовенству. *Как* не верить им - там все живая деятельность, а у нас мертвечина, грубость и сон. Там дела, а у нас голая обрядность и бездействие. Не мудрено, что многие говорят так. Между людьми ведется, что по платью встречают человека. Говорят: по уму провожают; но, чтоб узнать ум и почувствовать дух, надо много присмотреться и поработать мыслью, а по платью судить не трудно. Составишь себе готовое впечатление и так потом при нем и останешься. Притом есть много людей, для которых первое дело, первый и окончательный решитель впечатления — внешнее благоустройство, манера, ловкость, чистота, респектабельность. В этом отношении, конечно, есть на что полюбоваться хотя бы в английской церкви, есть о чем иногда печалиться в нашей. Кому не случилось встречать светское, а иной раз, к сожалению, и духовное лицо, из бывших за границую, с жаром выхваляющее здешнюю простоту церковную и осуждающее нашу родимую «за незрелость». Грустно бывает слушать такие речи, как грустно видеть сына, когда он, прожив в фешенебельном кругу, посреди всех тонкостей столичной жизни, возвращается в деревню, где провел когда-то детство свое и смотрит с презрением на неприветливую обстановку и на простые, пожалуй, грубые, обычаи родной семьи своей.

Мы удивительно склонны, по натуре своей, увлекаться прежде всего красивой формой, организацией, внешней конструкцией всякого дела. Отсюда — наша страсть к подражаниям, к перенесению на свою почву для тех учреждений и форм, которые поражают нас за границей внешней стройностью. Но мы забываем при этом, или вспоминаем слишком поздно, что всякая форма, исторически образовавшаяся, выросла в истории из исторических условий и есть логический вывод из прошедшего, вызванный *необходимостью*.

Истории своей никому нельзя ни переменить, ни обойти; и сама история, со всеми ее явлениями, деятелями, сложившимися формами общественного быта, есть произведение *духа* народного, подобно тому, как история отдельного человека есть в сущности произведение живущего в нем духа. То же самое сказать должно о формах церковного устройства. У всякой формы есть своя духовная подкладка, на которой она выросла; часто прельщаемся мы формой, не видя этой подкладки, но если бы мы ее видели, то иной раз не задумывались бы отвергнуть готовую форму при всей ее стройности, и с радостью остались бы при своей старой и грубой форме, или бесформенности, — пока своя у нас духовная жизнь не выведет свою для нас форму. Дух, вот что существенно во всяком учреждении, вот что следует охранять дороже всего от кривизны и смещения.

Наша церковь искони имела и донныне сохраняет значение всенародной церкви и дух любви и безразличного общения. Верю народ наш держится донныне посреди всех невзгод и бедствий, и если что может поддержать его, укрепить и обновить в дальнейшей истории, так это вера, и одна только вера церковная. Нам говорят, что народ наш невежда в вере своей, исполнен суеверий, страдает от дурных и порочных привычек; что наше духовенство грубо, невежественно, бездейственно, принижено и мало имеет влияния на народ. Все это во многом справедливо, но все это — явления *несущественные*, а случайные и временные. Они зависят от многих условий, — и прежде всего от условий экономических и политических, с изменением коих и явления эти рано или поздно изменятся. Что же существенно? Что же

принадлежит духу? Любовь народа к церкви, свободное сознание полного общения в церкви, понятие о церкви как общем достоянии и общем собрании, полное устранение сословного различия в церкви и общение народа с служителями церкви, которые из народа вышли и от него не отделяются ни в житейском быту, ни в добродетелях, *ни в самых недостатках*, с народом и стоят и падают. Это такое поле, на котором можно возрастить много добрых плодов, если работать вглубь, заботясь не столько об *улучшении быта*, сколько об *улучшении духа*, не столько о том, чтобы число церквей *не превышало потребности*, сколько о том, чтобы *потребность в церкви не оставалась без удовлетворения*. Нам ли зариться с завистью, издали и по слуху, хоть бы на протестантскую церковь и ее пастырей? Избави нас Боже дожидаться той поры, когда наши пастыри утвердятся в положении чиновников, поставленных над народом, и станут *князьями* среди людей своих, в обстановке светского человека, в усложнении потребностей и желаний среди народной скудости и простоты.

Вдумываясь в жизнь, приходишь к тому заключению, что для каждого человека, в ходе его духовного развития, всего дороже, всего необходимее - сохранить в себе неприкосновенным простое, природное чувство человеческого отношения к людям, правду и свободу духовного представления и движения. Это — неприкосновенный капитал духовной природы, которым душа охраняется и обеспечивается от действия всяких *чиновных* форм и искусственных теорий, растлевающих незаметно простое нравственное чувство. Как ни драгоценны, во многих отношениях, эти формы и теории, они могут, привившись к душе, совсем извратить и погубить в ней простые и здравые представления и ощущения, спутать понятие о правде и неправде, подточить самый корень, на котором вырастает здоровый человек в духовном отношении к миру и к людям. Вот что существенно, и вот что мы так часто убиваем в себе из-за форм, совсем не существенных, которыми обольщаемся. Сколько из-за этого пропадает у нас и людей и учреждений, фальшиво извращенных фальшивым развитием,— а между тем в церковном учреждении всего для нас дороже этот корень. Боже избави, чтоб и он когда-нибудь был у нас подточен криво поставленной церковной реформой.

Протестанты ставят нам в упрек формальность и обрядность нашего богослужения, но когда посмотришь на их обряд, то невольно отдаешь и в этом отношении предпочтение нашему обряду; чувствуешь, как наш обряд прост и величествен в своем глубоком, таинственном значении. Священнослужитель поставлен в нашем обряде так просто, что от него требуется только благоговейное внимание к произносимым словам и совершаемым действиям; в устах его и через него священные слова и обряды сами за себя говорят — и как глубоко и таинственно говорят душе каждого и соединяют все собрание в одну мысль и в одно чувство! Оттого самый простой и неискусный человек может, не подстраивая себя, не употребляя искусственных усилий, совершать молитвенное действие и вступать в молитвенное общение со всей церковью. Протестантский молитвенный обряд, при всей наружной простоте своей, требует от священнослужителя молитвенного действия в известном тоне. Оттого в этом обряде только глубоко духовные или очень талантливые люди могут быть просты; остальные же, — т. е. огромное большинство, принуждены подстраивать себя и прибегать к аффектации, которая именно в протестантских храмах чаще всего встречается и производит на непривычного человека тягостное впечатление. Когда видишь проповедника, как он, стоя среди храма, лицом к размещенному чинно на скамьях собранию, произносит молитвы, воздевая глаза к небу, сложив руки в известный всеми употребляемый вид, и придает своей речи неестественную интонацию,— становится неловко за него; думается, как должно быть ему неловко! Еще ощутительнее становится неловкость, когда, окончив обряд, он всходит на кафедру и начинает свою длинную проповедь, оборачиваясь от времени до времени назад, чтобы выпить из стакана воды и собраться с духом. И в этой проповеди редко случается слышать действительно живое слово,— когда проповедник действительно духовный человек или талант. Говорят большей частью *работники* церковного дела чрезвычайно натянутым голосом, с крайней аффектацией, с

сильными жестами, поворачиваясь из стороны в сторону, повторяя на разные лады общие, всеми употребляемые фразы. Даже, когда читают по книге, что нередко случается, они прибегают к известным телодвижениям, интонациям и расстановкам. Нередко случается, что проповедник, произнося некоторые слова и фразы, кричит и ударяет кулаком по кафедре, чтобы придать выразительность своей речи... Здесь чувствуешь, как верно применилась наша церковь к природе человеческой, не поместив проповеди в состав богослужебного обряда. Весь наш обряд, сам по себе, составляет лучшую проповедь, тем более действительную, что всякий принимает ее не как человеческое, а как Божие слово. И церковный идеал нашей проповеди, как живого слова, есть *учение* веры и любви, от божественных писаний, а не возбуждение чувства, как необходимое действие каждого священнослужителя на собравшихся в церковь для молитвы.

Говорят, что обряд — неважное и второстепенное дело. Но есть обряды и обычаи, от которых отказаться — значило бы отречься от самого себя, потому что в них отражается жизнь духовная человека или всего народа, в них сказывается целая душа. В разности обряда выражается всего явственнее коренная и глубокая разность духовного представления, таящаяся в бессознательных сферах духовной жизни,— та самая разность, которая препятствует слиянию или полноте взаимного сочувствия между разноплеменными народами и составляет основную причину разности церквей и вероисповеданий. Отрицать, с отвлеченной, космополитической точки зрения, действие этой притягательной или отталкивающей силы, приравнивая ее к предрассудку,— значило бы тоже, что отрицать силу сродства (*wahlverwandschaft*), действующую в личных между людьми отношениях.

Как знаменательна, например, у разных народов разница в погребальном обряде и в обращении с телом покойника! Южный человек, итальянец, бежит от своего мертвеца, спешит как можно скорее очистить от него дом свой и предоставляет посторонним заботу о его погребении. Напротив того, у нас, в России, характерная -народная черта — религиозное отношение к мертвому телу, исполненное любви, нежности и благоговения.

Из глубины веков отзывается до нашего времени, исполненный поэтических образов и движений, плач над покойником, превращаясь, с принятием новых религиозных обрядов, в торжественную церковную молитву. Нигде в мире, кроме нашей страны, погребальный обычай и обряд не выработался до такой глубокой, можно сказать, виртуозности, до которой он достигает у нас; и нет сомнения, что в этом его складе отразился наш народный характер, с особенным, присущим нашей натуре, мировоззрением. Ужасны и отвратительны черты смерти повсюду, но мы одеваем их благолепным покровом, мы окружаем их торжественной тишиной молитвенного созерцания, мы поем над ними песнь, в которой ужас пораженной природы сливается воедино с любовью, надеждой и благоговейной верой. Мы не бежим от своего покойника, мы украшаем его в гробе, и нас тянет к этому гробу — взглянуть в черты духа, оставившего свое жилище; мы поклоняемся телу и не отказываемся давать ему последнее целование, и стоим над ним три дня и три ночи с чтением, с пением, с церковной молитвой. Погребальные молитвы наши исполнены красоты и величия; они продолжительны и не спешат отдать земле тело, тронутое тлением,— и когда слышишь их, кажется, не только произносится над гробом последнее благословение, но совершается вокруг него великое церковное торжество в самую торжественную минуту бытия человеческого! Как понятна и как любезна эта торжественность для русской души! Но иностранец редко понимает ее, потому что она — совсем ему чужая. У нас чувство любви, пораженное смертью, расширяется в погребальном обряде; у него — оно болезненно сжимается от того же обряда и поражается одним ужасом.

Немец-лютеранин, живший в Берлине, потерял в России горячо любимую сестру православную. Когда он приехал к нам, накануне погребения, и увидел любимую сестру, лежащую в гробе, ужас поразил его, сердце его сжалось, и видно было, что чувство любви и благоговения уступило в нем место отвращению, с которым он присутствовал при прощании с мертвым телом и должен был сам принять в нем участие... В этом, как и во многом другом, немец не может понять нас, покуда не поживет с нами и не войдет в глубину духовной

нашей жизни. От этой же, кажется, причины ничто столько не возмущает лютеранина в нашей церкви, как поклонение св. мощам, которое для нас самих, по природе нашей, кажется так просто и естественно,— когда мы и своим покойникам кланяемся, и их тело обнимаем и чувствуем в погребении. Он, не живя нашей жизнью, не видит в этом чувствовании ничего, кроме дикого суеверия, а для нас — это движение и дело любви, самое природное и простое.

Трудно ему понять нас, так же как нам дико и противно слышать о возникшей недавно в германском и в английском обществе агитации, требующей введения нового погребального обряда. Они хотят, чтобы мертвые не предавались земле, а сжигались в особо устроенных печах,— и требуют этого с утилитарной и гигиенической точки зрения. Пропаганда эта усиливается, собираются митинги, составляются общества, устраиваются на счет частных лиц усовершенствованные печи, производятся химические опыты, сочиняются траурные марши, которыми должно сопровождаться сожигание... Голоса растут, крики усиливаются, во имя науки, во имя просвещения, во имя блага общественного. Из какого дальнего мира, из какого быта доносятся до нас эти звуки — и какой этот мир чужой для нас, какой неприятный и холодный! Нет, не дай Бог умереть в том краю, на чужбине, вдали от матери сырой земли русской!

Кто русский человек - душой и обычаем, тот понимает, что значит храм Божий, что значит церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым, чувствовать и уважать потребность религиозного чувства;— мало для того, чтобы уразуметь смысл церкви для русского народа и полюбить эту церковь как свою, родную. Надо жить народной жизнью, надо молиться заодно с народом, в одном церковном собрании, чувствовать одно с народом биение сердца, проникнутого единым торжеством, единым словом и пением. Оттого многие, знающие церковь только по домашним храмам, где собирается избранная и наряженная публика, не имеют истинного понимания своей церкви и настоящего вкуса церковного, и смотрят иногда равнодушно или превратно в церковном обычае и служении на то, что для народа особенно дорого и что в его понятии составляет красоту церковную.

Православная церковь красна народом, Как войдешь в нее, так почувствуешь, что в ней все едино, все народом осмыслено и народом держится. Войдите в католический храм, как в нем все кажется пусто, холодно, искусственно православному собранию. Священник служит и читает сам по себе, как бы поверх народа и отлученный от народа. Он сам по себе молится по своей книжке; народ молится по своим, приходит и уходит, совершив свои моления и дождавшись того или другого церковного действия. На алтаре совершается священнодействие; народ присутствует лишь при нем, но как будто не содействует ему общею молитвой. Обряд не говорит нашему чувству, и мы чувствуем, что красота, какая может быть в нем, не наша красота, а чужая. Все движения обряда, механически расположенные, кажутся нам странными, холодными, невыразительными; очертания, образы одежды — неблагообразными; звуки церковного речитатива — нестройными и бездушными; пение на чужом языке, в котором не распознаешь слов — не гимном народного собрания, не воплем, льющимся из души,— но концертом, искусственно устроенным, который покрывает собой богослужение, но не сливается с ним. Душа наша тоскует здесь по своей церкви, как тоскует между чужими по родине. То ли дело у нас: вот красота неопианная, красота, понятная русскому человеку, красота, которую он душу готов положить, так он её любит. Русское церковное пение — как народная песнь, льется широкой, вольной струей из народной груди, и чем оно вольнее, тем полнее говорит сердцу. Напевы у нас одинаковые с греками, но русский народ иначе поет их, потому что положил в них свою русскую душу. Кто хочет послушать, как эта душа сказывается, тому надобно идти не туда, где орудуют голосами знаменитые хоры и капеллы, где исполняется музыка новых композиторов и справляется обиход по новым официальным переложениям. Ему надо слушать пение в благоустроенном монастыре, или в одной из тех приходских церквей, где сложилось добрым порядком хоровое пение; там услышит он, каким широким, вольным потоком выливается праздничный ирмос из русской груди, какой торжественной поэмой выпевается догматик, слагается стихира с жанонархом, каким одушевлением радости проникнут канон

Пасхи или Рождества Христова. Тут оглянемся и увидим, как отзывается каждое слово песни в народном собрании, как блестит оно в поднятых взорах, носится над склоненными головами, отражается в припевах, несущихся отовсюду, потому что всякому церковному человеку знакомы с детства и слова, и напевы, и во всяком душа поет, когда он их слышит. Богослужение стройное, *истовое* — действительно праздник русскому человеку, и вне церкви душа хранит глубокое ощущение, которое отражается в ней, даже при воспоминании о том или другом моменте,— русская душа, привыкшая к церкви и во всякую минуту готовая воспрянуть, когда внутри ее послышится песнь пасхального или рождественского канона, с мыслью о светлой заутрене, или любимый напев праздничного ирмоса, или «Всемирная слава» с ее потрясающим «Дерзайте»... Подлинно, это те звуки, о которых сказал поэт, что им ... без волнения Внимать невозможно... Не встретит ответа Среди шума мирского Из пламя и света Рожденное слово, Но в храме, среди боя, И где я ни буду, Услышав его, я Узнаю повсюду...

А у того, кто с детства привык к этим словам и звукам, сколько от них поднимается всякий раз воспоминаний и образов из той великой поэмы прошлого, которую каждый прожил и каждый носит в себе... Счастлив, кто привык с детства к этим словам, звукам и образам, кто в них нашел красоту и стремится к ней, и жить без нее не может, кому все в них понятно, все родное, все возвышает душу из пыли и грязи житейской, кто в них находит и собирает растерянную по углам жизнь свою, разбросанное по дорогам свое счастье. Счастлив, кого с детства добрые и благочестивые родители приучили к храму Божию и ставили в нем посреди народа молиться всенародной молитвой, праздновать всенародному празднику. Они собрали ему сокровище на целую жизнь, они ввели его подлинно в разум духа народного и в любовь сердца народного, сделав и для него церковь родным домом и местом полного, чистого и истинного соединения с народом.

Что ж сказать о множестве затерянных в глубине лесов и в широте полей наших храмов, где народ тупо стоит в церкви, ничего не понимая, под козлогласованием дьячка или бормотанием клирика?

Увы! не церковь повинна в этой тупости и не бедный народ повинен:— повинен ленивый и несмыслящий служитель церкви; повинна власть церковная, невнимательно и равнодушно распределяющая служителей церкви; повинна, но местам, скудость и беспомощность народная. Благо тому человеку, в ком зажжется на ту нору искра любви и ревность о жизни духовной и кто успеет вывести заброшенную церковь в свет благолепия и нения. Подлинно, он осияет светом страну и сень смертную, он воскресит умерших и поверженных, спасет души от смерти и покроет множество грехов... Оттого-то русский человек так охотно и так много жертвует на церковное строение, на созидание и украшение храмов. Как криво судят те, кто осуждает его за это рвение, а таких голосов слышится уже ныне не мало. Это щедрое рвение приписывают то к грубости и невежеству, то к ханжеству и лицемерию. Говорят: не лучше ли было бы употребить эти деньги на «образование народное», на школы, на благотворительные учреждения? И на то, и на другое жертвуется своим чередом, но то жертва совсем иная, и благочестивый русский человек со здравым русским смыслом не один раз призадумается прежде, чем развяжет кошель свой на щедрую дачу для формально образовательных и благотворительных учреждений.

То ли дело Церковь Божия! Она сама за себя говорит; она — живое, всенародное учреждение. В ней одной и живому, и умершему отрадно. В ней одной всем легко, свободно, в ней душа всяческая, от мала до велика, веселится и радуется, и празднует от тяжелой страды; в ней и белому и серому человеку, и богатому и бедному одно место. Разукрашена она паче царской палаты — дом Божий, а всякий из малых и бедных стоит в ней, как *в своем* дому; каждый может назвать церковь своей, потому что церковь на народные рубли и, больше того, на народные гроши строена и народом держится. Всем в ней приют и молитва с утешением, и то учение, которое дороже всего русскому человеку. Вот что бессознательно и сознательно сразу сказывается в русской душе о церкви и заставляет русского человека жертвовать на церковь без оглядки и без рассуждения. Русский человек чувствует, что в этом

деле не ошибается, и дает верно и свято на верное и святое дело.

ВЕРА

Здесь, на земле, подлинно мы ходим *верою*, а не видением, и жестоко ошибается тот, кто думает, что погасил в себе веру, и хочет жить отныне одним видением. Как бы высоко ни поставил себя над миром ум человеческий, он не разделен с душой, а душа все стремится веровать, и веровать безусловно: без веры прожить нельзя человеку. И не жалкий ли это обман, что человек, отвергая веру в действительное, в существующее, в то, что сказывается душе его реальной истиной, делает предмет своей веры теорию и формулу, ее чувствует, ей, как идолу, поклоняется, ей готов принести в жертву себя самого и целый мир в душе своей, свободу свою, и всех своих ближних. Теория и формула, какие бы ни были, не могут заключать в себе безусловное, и каждая из них, возникнув в уме человеческом, есть, по необходимости, нечто неполное, сомнительное, условное и лживое. Что выше меня неизмеримо, что от века было и есть, что неизменно и бесконечно, чего не могу я объять, но что *меня объемлет и держит* — вот, во что хочу я верить как в безусловную истину, — а не в дело рук своих, не в творение ума своего, не в логическую формулу мысли. Бесконечность вселенной и начало жизни невозможно вместить в логическую формулу. Бедный человек, кто, составив себе такую формулу, хочет с ней пройти через хаос бытия: — хаос поглотит его вместе с жалкой его формулой. Сознание своего бессмертного я, вера в Единого Бога, ощущение греха, искание совершенства, жертва любви, чувство долга — вот истины, в которые душа верит, не обманываясь, не идолопоклонствуя перед формулой и теорией.

Какое таинство — религиозная жизнь народа такого, как наш, оставленного самому себе, неученого! Спрашиваешь себя: откуда вытекает она — и когда пытаешься дойти до источника — ничего не находишь. Наше духовенство мало и редко *учит*, оно служит церкви и исполняет требы. Для людей неграмотных Библия не существует; остается служба церковная и несколько молитв, которые, передаваясь от родителей к детям, служат единственным соединительным звеном между отдельным лицом и церковью. И еще оказывается в иных, глухих местностях, что народ не понимает решительно ничего, ни в словах службы церковной, ни даже в «*Отче наш*», повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов молитвы.

И однако — во всех этих невоспитанных умах воздвигнут, — как было в Афинах, — неизвестно кем, алтарь *Неведомому Богу*; для всех — действительное присутствие воли Провидения во всех событиях жизни — есть факт столь бесспорный, так твердо укоренившийся в сознании, что, когда приходит смерть, эти люди, коим никто никогда не говорил о Боге, отверзают Ему дверь свою, как известному и давно ожидаемому Гостю. Они в буквальном смысле *отдают Богу душу*.

«В начале было слово» — так благовествует Евангелист. Великий германский писатель захотел поправить эту мысль богослова своим философским анализом, заставив над ней задуматься Фауста. «Нет», — говорит Фауст: «в начале было *дело*». Когда бы Гёте писал своего Фауста в наше время, Фауст сказал бы, вероятно: «в начале был *факт*».

Факт — это излюбленное понятие новейшей материальной философии, ячейка, из которой она строит вселенную, столп и основание всего того, что она называет *истиной*.

Какая неправда! Истина есть нечто абсолютное, и только абсолютное может быть основанием жизни человеческой. Все остальное не твердо, все остальное исчезает в колеблющихся образах и очертаниях, стало быть, не может служить основанием. Факт есть нечто существенно реальное, неразрывно связанное с условиями материальной природы, и в ней только мыслимое. Но едва мы пытаемся отделить этот факт от материальной его среды, определить духовное его начало, уловить его истинный разум, — как уже теряемся в сети предположений, гипотез, недоумений, возникающих в уме каждого отдельного мыслителя, — и чувствуем свое бессилие познать его *истину*. Вот почему история представляет нам такое смешение представлений о каждом событии, о каждом историческом деятеле, когда мы

пытаемся анализировать духовное значение того или другого. Самая высшая добросовестность исторического исследования может стремиться лишь к начертанию верной картины событий и действий в связи с современными им условиями жизни и деятельности, к восстановлению факта в полной по возможности материальной его обстановке, с исследованием причин, последствий и побудительных причин исторической деятельности. Очевидно, что наука здесь не может обойтись без художника, и всякий подлинный историк должен быть художником в труде своем. Для художества необходим идеал; следовательно, историк, в оценке событий и действующих лиц, непременно имеет в виду идеал, черты коего могут быть не одинаковы у каждого. Каждый склонен увлекаться своим идеалом, то есть своим представлением о совершенстве в побуждениях, делах и учреждениях человеческих. К событиям, во взаимной их связи, историк относится критически, и характер критики определяется сложившимся у каждого мирозерцанием. Вот почему так различны и часто противоречивы суждения и приговоры исторической критики о знаменитейших деятелях и важнейших событиях истории. Кого один возвышал вчера, того другой сегодня развенчивает, и наоборот, кого прежде историческая наука выставляла извергом, в том после находит черты нравственного превосходства. Едва ли когда будет конец этим колебаниям исторической критики,— ибо самый идеал ее представляет колеблющиеся черты и с каждым поколением ученых художников изменяется.

Несравненно раньше прагматической истории из глубины народного сознания и творчества народного возникла *легенда* и продолжает твориться наряду с историей. Она служит сама источником для истории и предметом исторической критики, но невзирая ни на какую критику, остается драгоценным достоянием народа, сохраняя в себе всю свежесть непосредственного представления. Народ понимает ее и любит ее,— и, прибавим, продолжает творить ее, не только потому, что склоняется к чудесному, но потому еще, что чувствует в ней глубокую истину, абсолютную истину идеи и чувства,— истину, которой не может дать ему никакой — самый тонкий и художественный — критический анализ фактов. Тех героев народной поэмы, которых развенчивает история, народ продолжает чтить; в них драгоценны для него черты идеала — идеала силы, добродетели, святости, ибо в этих идеалах, а не в людях, не в событиях, не в преходящих образах жизни, народ чувствует *абсолютную истину*. Ученые не хотят понять, но народ *чувствует душой*, что эту абсолютную истину нельзя уловить материально, выставить осязательно, определить числом и мерою,— но в нее можно и должно *веровать*, ибо абсолютная истина доступна только вере. Ничего нет совершенного, ничего — цельного, ничего — единого в делах, чувствах и побуждениях человеческих, ибо всякий человек раздвоен сам в себе и только стремится к объединению, падая и колеблясь на каждом шагу. Итак, если подойдем с анализом к каждому подвигу, к каждому событию, к каждому историческому лицу,— никто его не выдержит, и героев не будет ни единого. Каждому подвигу предшествует такая цепь нравственных колебаний, его объемлет такая сеть разнохарактерных ощущений, побуждений, случайных событий, направляющих, изменяющих, рассекающих волю человеческую,— что для пытливого ума не остается и места подвигу, как цельному, свободному проявлению воли, направленной к идеалу. Но в народном представлении подвиг является именно цельным и живым проявлением силы: так верует народ, и без этой веры жить не может, ибо на ней вся жизнь человека держится, посреди рыдания и жалости, и горя, и лжи, коею она материально наполнена.

Вот почему заблуждаются те, которые хотят разложить эту веру в народе, отнять ее у него, под предлогом заботы о мнимой исторической истине. Людям необходима вера в идеал истины и добра, но как сохранить эту веру, как поддержать ее, если она не воплощается в *живом образе!* Отнять у людей этот образ, значит — отнять самую веру, которая в нем выражается, веру в абсолютную истину, в цельное совершенство. Вот почему, между прочим, любимое но преимуществу чтение русского народа жития святых, Четья mineя, вся составленная из живых образов подвига, добродетели, нравственного совершенства. Каждый из этих героев святости был — человек, со всеми слабостями человеческой природы, со

всяким колебанием мысли, побуждения и воли, со всей низостью падения человеческого, и если б можно было разложить душу его, мы бы увидели в ней всю тайну первородного греха и все бессилие борьбы человека с самим собою. Но из этой борьбы вышел он победителем, но борьба эта совершалась во имя высших идеалов совершенства, коего мера не на земле, а на небе, в области абсолютного. И этот подвиг его борьбы описала живыми чертами подобная, сочувственная душа благочестивого описателя, которая вложила в описание живую любовь к той же истине, живое стремление к тому же идеалу. Вот в чем народ чувствует истину — и не сомневается, и верует, в то время, когда пытливая философия ученого агностика пытается факты и, думая познать в них материальную истину, в то же время о духовной истине, об истине, которая сама отзывается в верующей душе,— насмешливо спрашивает: «Что есть истина?»

В мифе Прометея, связанного Зевсом и пригвожденного к кавказскому утесу, нельзя не распознать идею новейшего скептицизма, в сопоставлении с идеей Всемогущего Бога, Создателя вселенной. Это протест гордого духа против общего верования в бытие Божие, отрицание невыносимого для гордости чувства стыдения (*reverentia*) перед Божеством, покорности и поклонения Божеству. Нужды нет, что от Божества взят, у Божества похищен священный огонь, которым живет, согревается, оплодотворяется человечество,— человек знать этого не хочет и, владея Божественным огнем, хочет жить в отчуждении от Божества, самовластно.

Сфинкс древней басни сидел на распутье и предлагал каждому путнику свою загадку. Кто не умел разгадать ее, тот был жертвой сфинкса и повергался в пропасть: одолеть чудовище мог лишь мудрец, находивший разгадку.

Что такое сфинкс в нашей жизни? Вся наша жизнь — бесконечная, с виду механическая цепь явлений и событий — (фактов). Друг друга сменяя, совокупляясь друг с другом, все они, пролетая мимо, несут на крыльях свои вопросы духу человеческому, и каждая минута, в коловращении времени, проводит свои, *современные* вопросы. Потребна мудрость духа, чтобы ответить на них, чтоб разрешить их: у кого нет ее, тот становится *рабом* фактов и явлений,— *рабом своего времени* — хотя бы и величался человек *современным*. Факты подавляют его со всех сторон, господствуют над ним,— и выходит человек *пошлых путей*, чувственного обычая (рутинер),—и до того доходит в слепом повиновении фактам, что исчезнет в нем наконец последняя искра света, просвещающего всякое существо, достойное имени и звания человеческого. Но когда человек остается верен лучшим духовным побуждениям своей природы, когда умеет различать основные начала духовной жизни и твердо стоит в духе, не повинуюсь фактам, но господствуя над ними, тогда все они ровно ложатся около него в жизни, каждый на свое место: не они его одолели, но он одолел их...

Сфинкс древнего Египта не то, что сфинкс древней Греции, хотя и тот и другой выражает таинство души человеческой.

Египетский сфинкс — мирное существо получеловеческое, полуживотное. Перед храмом, перед царской гробницей, проходя длинным рядом сфинксов, человек ощущает близость Божества — и таинства смерти. Сфинкс является образом таинственного созерцания, погруженного в себя и в идею Божества: древние египтяне олицетворяли в нем Божество солнечного света.

Не таков сфинкс *нового* мира, создание Греческой фантазии. Это существо демонического происхождения, порождение чудовищного Тифона и Ехидны, олицетворение не светлого Божества, но темной силы Тартара,— существо зверское, хищное, губительное. И в нем выражается таинство, но не таинство погруженного в себя созерцания,— а таинство страстной, отрицательной, насильственной и разрушительной мысли.

И этот сфинкс доныне не перестает задавать человечеству страшные, таинственные загадки,— загадки неразрешимые. Тысячи умов пытаются найти решение, разгадать загадку жизни и религии,— и не могут. Но каждая и безуспешная попытка решения — только погружает мысль и чувство в новые бездны, и каждая загадка порождает лишь сотни и тысячи новых неразрешимых загадок,— и перед бедным человечеством разверзается, в виду

чудовища, бездна погибели, и оно ринется в бездну, если не остановится на камне простой твердой веры и ясного мышления...

Великий вопрос, не prestaющий смущать ум и совесть во всем человечестве — вопрос об осуществлении в отношениях человеческих правды и любви, заповеданных Христом, полагаемых христианской Церковью в основание своего учения. Нет разума, который нашел бы ключ к разрешению этого противоречия, нет совести, которая успокоилась бы на нем. Проходя мыслью кровавую историю войн, раздоров, насилия, неправды, невежества и суеверия, длящаяся с начала мира до сегодняшнего дня — и в общественной и в частной жизни, всякий с ужасом спрашивает себя — где же и в чем же исполнение закона Христова посреди того ада, в котором живем мы и движемся? Где выход из того состояния, в котором самая религия представляется как бы зеркалом лжи и лицемерия, показателем противоречий между делом и сознанием, сетью обрядов и формальностей, служащих покровом прельщаемой совести и мнимым оправданием неправды? Есть избранные, есть люди правды, смиренные сердцем, есть дела любви и разума, на которых мысль отдыхает и временно успокаивается; но, обозревая совокупность жизни, видит начальства и власти, забывающие свое призвание, видит несправедливые прибыли в чести и славе, богатство, нажитое хищением, поглотившее самую власть и владеющее миром, видит беззаконие, самоуверенное под покровом наружного благочестия, видит тысячи и миллионы, приносимые в жертву богу войны, идолу вражды и насилия, видит наконец бесчисленные массы, прозябающие без сознания, раздираемые нуждой, живущие и умирающие в страдании. Где же, спрашивает, царство Христово, царство любви и правды, где же действенная сила религии, — где цель и конец бедственной человеческой жизни?

Сколько раз слышалось и слышится — издревле и до наших дней ожидание золотого века в человечестве — и оканчивается оно разочарованием, если не безнадежностью — ибо христианин не может, не должен быть безнадежен. Ветхозаветные пророки изображают будущее состояние мира и благоденствия в человечестве. Христос принес на землю заповедь любви и мира, но не исполнение этой заповеди — исполнение, в котором не оставалось бы места свободе: эта самая заповедь, по Его слову, явилась мечом и должна была зажечь огонь в сердцах человеческих. И когда, по воскресении Его, от сердец, загоревшихся надеждою на обновление мира, послышался робкий вопрос: «Господи, не в это ли лето устроишь Ты царство Израилево?» — ответ Его был: «не дано вам разуметь времена и лета: их Господь положил во Своей власти». — Время, размеренное малыми долями у людей, безгранично у Господа Бога: у Него и тысяча лет как день, и день как тысяча лет.

И юная Церковь Христова первых столетий, посреди гонений, посреди пороков и бед, жила тою же надеждою на устроение царства Израилева: эта надежда на победу правды в человечестве была новой силой, которую внесло в безотрадный языческий мир христианство. Настало страшное время, когда эта сила, по-видимому, иссякла, и надежда перешла в отчаяние. Взятие и разрушение Рима Аларихом поразило весь христианский мир невыразимым ужасом; и верующие души омрачились сомнением: где же сила христианства, где же спасение? А мир языческий вопиял: все беды эти от новой религии Христовой. Тогда Блаженный Августин ободрил смущенную совесть и восстановил надежду христианскую своей одушевленной книгой «*О граде Божием*», разъясняя людям судьбы Промысла Божественного в истории человечества и непреложность учения о царстве, еже не от мира сего.

С тех пор и донныне, в эпохи общественных бедствий, в разгаре насилия и разврата общественного, сколько раз поднимается тот же самый вопрос в христианском мире! И мы переживаем такое время, когда начинает, по-видимому, оживать давно прошедшее язычество, и поднимая голову, стремится превозмочь христианство, отрицая и догматы его, и установления, и даже нравственные начала его учения, — когда новые проповедники, подобно языческим философам древнего века, с злобной иронией обращают к остатку верующих горькое слово: «вот к чему привело мир ваше христианство! вот чего стоит ваша вера, искажившая природу человеческую, отнявшая у нее свободу похоти, в которой состоит счастье!» Что же, неужели погибает перед напором древнего язычества «победа, победившая

мир, вера наша»?

Нет, она остается целой, в святой Церкви, о коей Создавший ее сказал: «врата адовы не одолеют ее». Она хранит в себе ключи истины, и в наши дни, как и во все времена, всяк, кто от истины, слушает глас ее. В ней, под покровами образов и символов, содержатся силы, долженствующие собрать отовсюду рассеянное и обновить лицо земли. Когда это будет, ведает Един, времена и лета положивый в Своей власти.

А между тем, от самого начала Церкви, нетерпеливые сердца, гордые умы не перестают искать, помимо Церкви и вопреки ей, новых учений, долженствующих обновить человечество, исполнить закон любви и правды, водворить мир и благоденствие на земле. Поражаясь чудовищными противоречиями между учением Христа Спасителя и жизнью христиан, составляющих Церковь Христову,— они возлагают вину на Церковь с ее установлениями и, приходя к отрицанию существующей от начала христианства Церкви, думают утвердить вместо нее свое, очищенное, по мнению их, учение Христово, отрешенное от Церкви, выводимое по их усмотрению из отдельных текстов Евангелия.

Странное заблуждение. Люди, подверженные той же похоти и тому же греху, какому подвержено все окружающее их общество, люди одного со всеми естества, раздвоенного в себе, склонного хотеть, чего не делает, и делать, чего не хочет,— себя одних представляют едиными в духе и являются непризнанными учителями и пророками. Похоже на то, как бы они одни воображали себя стоящими на неподвижной точке, тогда как весь мир и они вместе с миром кругом обращаются. Начиная с разрушения закона, сами они не в силах создать новый закон из тех частей и обрывков цельного учения, которое отвергли. Отрицая Церковь,— они приходят, однако, к тому, что хотят создать свою церковь с своими проповедниками и служителями, и если успевают в том, повторяется на них то же, что они осуждали и против чего восставали,— только с новым умножением лжи и лицемерия, и безумной гордости, возвышающейся над миром. Гордость ума, с презрением к людям той же плоти и крови, возбуждает их разорвать старый закон и созидать новый. Они забывают, что Тот же Учитель Божественный, имя Коего призывают они, будучи кроток и смирен сердцем, не хотел изменять ни одной черты в законе, но каждую черту оживотворял духом любви, в ней сокрытым.

Осуждая догматизм и обрядность, они сами под конец обращаются в узких и властолюбивых догматиков; восставая против фанатизма и нетерпимости, они сами становятся злейшими фанатиками и гонителями;

проповедуя любовь и правду, сами бессознательно проникаются духом злобы и страстия. Гордость, ослепляя их, не допускает их сознать, какой соблазн вносят они в область веры, разрушая простоту ее и цельность в душах простых, которые Церковь не успела ещё воспитать и привести в сознание веры.

Не трудно,— но и как безумно, как бессовестно соблазнить простую душу, в которой есть только чистое, незанятое поле религиозного чувства, душу невоспитанную, невежественную в истинах веры! Ужасно подумать, что к такой душе приступают с голым отрицанием Церкви, и хотят ее уверить, что эта Церковь с ее учением и таинствами, с ее символами, обрядами и преданиями, с ее поэзией, одушевлявшей из века в век множество поколений, есть ложное и ненавистное учреждение. Простая душа была душа смиренная: сектантство возводит ее на высоту *гордости* — своей, *особливой* верой, а веру вмещает в узкую рамку сектантской *формулы*. Нет души, как бы ни была она невежественна,— к коей нельзя было бы привить такую бессмысленную гордость с уверенностью в своей правде — пред кем? Пред целым народом, составляющим Церковь и живущим в смиренном сознании своей греховности перед Богом и в смиренной надежде на прощение грехов и на спасение в молитве церковной. Плоды этой гордости в дальнейшем ее развитии очевидны. Это — *лицемерие* в самодовлеющем сознании праведности; это — злобное раздражение против всех иначе верующих, и до страсти доходящее стремление к отвлечению от церковного стада рассеянных овец его,— причем всякие средства считаются годными для достижения цели.

Церковь подлинно корабль спасения для пытливых умов, мучимых вопросами о том,

во что верить и как верить. Пуститься с этими вопросами в безбрежное море исследований, сомнений и логических выводов — страшно для ограниченного ума человеческого, для прихотливого воображения, для самолюбия, стремящегося искать новых путей. Утвердившись на своей, надуманной вере, ставя себя с ней выше авторитета церковного, человек в сущности может кончить тем, что уверует в себя, как носителя веры; может прийти до нетерпимости и фанатизма, до странного оболщания мысли — принимать веру за самодовлеющий элемент спасения, отрешенный от жизни и деятельности.

Передовые люди, основатели религий, на высотах созерцания созная, в системе вероучения, идею Божества и Его отношения к человеку, создают в применении к ней и формы культа, одухотворенные той же идеей. Но масса народная пребывает в долине и свет чистого созерцания, озаряющий верхи гор, не скоро до нее доходит. В массе религиозное представление, религиозное чувство выражается во множестве обрядностей и преданий, которые с высшей точки зрения могут казаться суеверием и идолослужением. Строгий ревнитель веры возмущается, негодует и стремится разбить насильственной рукой эту оболочку народной веры, подобно тому как Моисей разбил тельца, слитого Аароном по просьбе народа, в то время когда пророк пребывал в высоком созерцании на высотах Синайских. Отсюда, доходящая до фанатизма, пуританская ревность вероучителей.

Но в этой оболочке, нередко грубой, народного верования таится самое зерно веры, способное к развитию и одухотворению, таится та же вечная истина. В обрядах, в преданиях, в символах и обычаях — масса народная видит реальное и действенное воплощение того, что в отвлеченной идее было бы для нее не реально и бездейственно. Что, если, разбив оболочку, истребим и самое зерно истины; что, если, исторгая плевелы, исторгнем вместе с ними и пшеницу? Что, если, стремясь разом очистить народное верование под предлогом суеверия, истребим и самое верование? Если формы, в которых простые люди выражают свою веру в живого Бога, иногда смущают нас,— подумаем, не к нам ли относится заповедь Божественного Учителя: «блюдите, да не презрите единого от малых сих верующих в Меня».

В одной арабской поэме встречается такое поучительное сказание знаменитого учителя Джелаледина. Однажды Моисей, странствуя в пустыне, встретил пастуха, усердно молившегося Богу. И вот какой молитвой молился он: «О, Господи Боже мой, как бы знать мне, где найти Тебя и стать рабом Твоим. Как бы хотелось надевать сандалии Твои и расчесывать Тебе волосы и мыть платье Твое, и лобызать ноги Твои, и убирать жилище Твое, и подавать Тебе молоко от стада моего; так Тебя желает мое сердце!» Распалился Моисей гневом на такие слова и сказал пастуху: «ты богохульствуешь. Бестелесен Всевышний Бог, не нужно Ему ни платья, ни жилища, ни прислуги. Что ты говоришь, неверный?»

Тогда омрачилось сердце у пастуха, ибо не мог он представить себе образ без телесной формы и без нужд телесных: он предался отчаянию и отстал служить Господу.

Но Господь возглаголил к Моисею и так сказал ему: «для чего отогнал ты от Меня раба Моего? всякий человек принял от Меня образ бытия своего и склад языка своего. Что у тебя зло, то другому добро: тебе яд, а иному мед сладкий. Слова ничего не значат:

Я взираю на сердце человека».

Древний Персидский поэт Мухаммед Руми (13 стол.) — автор знаменитой поэмы *Маснави*. В ней есть замечательные стихи о молитве, достойные верующей души.

«Некто, в сладость устам своим возопил в тишине ночной: «о Алла!» А сатана сказал ему: «молчи ты, угрюмец, долго ли тебе болтать пустые слова? не дождешься ты ответа с высоты престольной, сколько ни станешь кричать: «Алла!» и делать печальный вид».

Смутился человек, горько ему стало, и повесил он голову. Тогда явился тому пророк Кизр в видении и сказал: «Зачем перестал ты призывать Бога и раскаялся от молитвы своей?» И отвечал человек: «не слышал я ответа, не было гласа: «Я здесь», и боюсь я, что отвержен стал от благодатной двери». И сказал ему Кизр: «Вот что повелел мне Бог. Иди к нему и скажи: О, искушенный во многом человек! Не Я ли поставил тебя на служение Свое? Не Я ли заповедал тебе взывать ко Мне? И Мое: «Здесь Я» одно и то же, что и твой вопль:

«Алла!» И твоя скорбь и стремление твое и горячность твоя — все это Мои к тебе вестники; когда ты боролся в себе и взывал о помощи — этой борьбою и воплем Я привлекал тебя к Себе и возбуждал твою молитву. Страх твой и любовь твоя — покровы Моей милости, и в одном твоём слове: «о Господи!» множество отзывается голосов: «Я здесь с тобою!»

ИДЕАЛЫ НЕВЕРИЯ

Древнее слово «рече безумен в сердце своем: несть Бог» выступает ныне во всей своей силе. Правда его ясна как солнце, хотя ныне всеми «передовыми умами» овладело какое-то страстное желание обойтись без Бога, спрятать Его, упразднить Его. Люди,— по мысли добродетельные и честные, те задают себе вопрос, как бы сделать конструкцию добродетели, чести и совести без Бога. Жалкие усилия!

Франция, дойдя до крайней степени политического разложения, задумала, в лице своего правительства, организовать народную школу «без Бога». На беду, у нас иные представители интеллигенции не далеко ушли от московской княжны, лепетавшей: «Ах, Франция, нет в мире лучше края», и недавно еще прославленный педагог указывал нам на новую французскую школу, как на идеал для подражания.

В числе новых французских книг, официально предназначенных для руководства при обучении в женских школах насчет правительства, есть книга, называемая: «Нравственное и гражданское наставление молодым девицам», сочин. г-жи Гревилль (*Instruction morale et civique des jeunes filles*). Это нечто вроде гражданского катехизиса нравственности, коим предполагается заменить в школах обучение Закону- Божию.

Книга эта весьма замечательна. Она разделена на три части, и каждая часть на отдельные главы. Первая часть содержит в себе правила нравственности, понятия о долге, о чести, совести и т. под. Вторая часть содержит в себе краткое учение о государстве и о государственных учреждениях. Третья часть — учение о женщине, о ее призвании, качествах и добродетелях. Изложение книги — сжатое, простое, ясное — как пишутся учебники, со множеством наглядных примеров, с картинками в тексте. Нельзя ничего возразить против сущности самого учения: оно зовет к порядку, к доброй нравственности, к чистоте мысли и намерения, к добродетели, и обращается энергически к чувству и сознанию долга, а женщине строго указывает ее обязанности в домашней жизни и в обществе.

Но примечательно вот что. Ни разу ни на одной странице не упоминается о Боге, нет ни малейшего намека на религиозное чувство. Автор, изъясняя глубокое и решительное значение *совести* в человеке, дает такое определение совести: «совесть есть соображение того *мнения*, которое имеют о нас и о действиях наших другие люди» (*consideration de l'opinion des aïtres*). На этом-то зыбком и колеблющемся грунте *людского мнения* сочинители стремятся утвердить нравственные основы целой жизни! Подлинно исполняется на этом слово: «Мнящиеся быть мудрыми - обезумели».

К несчастью, в этот ноток безумия, разливающийся ныне во Франции, привлекаются, и из нашей бедной России, мелкие ручьи доморощенной интеллигенции; и от глашатаев ее, из журналов и газет, из передовых статей и фельетонов, слышится повторяемый хором тот же голос московской княжны. К тому же хору присоединяются нередко благо намеренные, но чрез меру наивные и неопытные умы, воображающие, что журналы и газеты приносят им какое-то «новое слово» цивилизации.

Жалко читать, как журнальные критики рассуждают в вопросе школы, что без религии, конечно, нельзя, что религиозное обучение нужно, но все это без церкви и ее служителей. Говорили бы уже прямее и проще. Мы-де не отвергаем религиозного обучения, мы-де даже требуем его, мы не понимаем школы без него,— только не хотим *клерикализма*. А под покровом этого термина разумеется церковь и церковность. Этот иезуитский прием изложения, усвоенный новыми апостолами народной школы, вводит в заблуждение многих читателей, не умеющих «различать дух» писания.

Не знают эти добрые люди, что ныне и слово *религия*, как и многие другие слова,

изменилось в своем значении, и под ним стали уже многие разуместь нечто такое, от чего, если б распознал, отступил бы с ужасом человек, подлинно верующий в Бога. Не знают, что в наше время выдумана религия *без Бога*, и самое слово *Бог*, в употреблении у так называемых *людей науки*, получило особое значение.

В 1882 году появилась замечательная книга, обратившая на себя общее внимание. Отрицание Бога высказывалось большею частью ненавистниками всякой религии, с чувством ожесточения, с выражением легкомысленной или злобной иронии, с проповедью об исключительном значении *материи* во вселенной. В этой книге в первый раз выразилось, в спокойном тоне, с достоинством, с идеальным воззрением на жизнь, целое учение о религии без Бога. Книга эта называется: *Натуральная религия* (Natural Religion, Lond. 1883). Автор ее—оксфордский профессор Сили (Seelcy), тот самый, коего первое сочинение *Ессе Ното*, появившееся лет за десять пред тем, обратило тогда на себя внимание не только людей мирской науки, но и благочестивых идеалистов, мнивших найти в нем какое-то новое слово о Христе и о христианской вере. Некто и;! уверовавших в эту книгу издал ее и в русском переводе.

Но людям церковным и в то время кии га эта казалась странною и сомнительною. Нельзя было отнестись к ней с доверием.

Книга эта содержала в себе художественный анализ земной жизни и характер Иисуса Христа, исключительно в чертах человеческой Его натуры. Она была написана в духе глубокого благоговения, языком философским, но не чуждым терминов церковных и богословских. Целью анализа явно выказывалось намерение выяснить образ Христов для благоговейного подражания. Казалось, автор — христианин, исполненный благочестивого чувства. Однако, многим благочестивым читателям этой книги было от нее смущение: как будто с их христианским воззрением и чувством не сходится то же, по-видимому, христианское чувство и воззрение автора. Образ Христа в этой книге был образом верховной святости, чистоты и благости, но не родной, не свой, не тот. Кого мы привыкли с детства чтить Богочеловеком, Словом Божиим, не тот Христос, Кого славит церковь Христова. Что-то неладное слышалось в книге, как будто автор ее или утратил веру, или недалеко стоит от того. Однако, и этой книге автор видимо утверждал еще веру в личное бытие Бога, в бессмертие души человеческой, в мессианское значение пришествия Христа в мир, и даже, хотя с некоторым колебанием, в действительность чудес Христовых.

Прошло 10 лет, и *он* является, как ни в чем не бывало, восторженным проповедником религии, но религии новой, не Христовой. Старое откровение,— говорит он,— отслужило свою службу; вместо него явилось новое: новейшие естествоиспытатели, историки, филологи — принесли нам такое откровение, о коем и не мечтали древние пророки. С этой точки зрения библейская критика немецких ученых выше и совершеннее самой Библии. Обращаясь с необыкновенной наивностью, к людям верующим и церковным, он говорит: о чем нам спорить, о чем враждовать друг с другом? Мы можем соединиться в одной вере. Мы, люди науки, тоже веруем в Бога. Наш Бог — природа, которая есть в известном смысле откровение. Итак, мы не безбожники, повторяет он, и весь спор между нами, людьми науки, и вами, богословами, есть лишь спор о словах. Не все ли равно:

у нас Бог — природа, и научная теория вселенной есть тоже теория теизма. Ведь, природа есть сила вне нас сущая, закон ее для нас безусловен,— вот, стало быть. Божество, которому мы поклоняемся.

Не любопытно ли, что автор, отвергая личное бытие Божие, в то же время протестует энергически против обвинения в атеизме, и сам отвергает и осуждает атеизм. Что же такое атеизм, по его мнению? На этот вопрос автор отвечает таким измышлением ума, который простому уму может показаться безумием.

«То, что обыкновенно называют атеизмом, есть очень метафизическая форма отрицания и не имеет серьезного значения. Подлинный, действительный атеизм имеет гораздо более серьезное значение и заключает в себе великое нравственное зло. Настоящий атеизм может быть назван общим термином *своеволие* (wilt'ulness). Именно, всякая деятель-

ность человеческая есть сделка с природою, сделка нашей потребности с неотразимым законом природы... Не признавать ничего, кроме собственной воли, воображать доступным все, что наметила сильная воля, не признавать вне себя никакой высшей силы, которую надлежит принимать в соображение и склонять на свою сторону для успеха в предприятии, вот в чем заключается *чистый атеизм*. Желая пояснить примером эту смутную и спутанную мысль, автор приводит в пример государство, являющее в судьбах своих образ чистого атеизма, и указывает на Польшу. *Sedel aetern unique sedebit*,— говорит он, - несчастная Польша, испытывая кару за преступное атеистическое своеволие, за то, что услаждалась безграничной личной свободой, не хотевшей считаться с природой вещей».

Составляя свою теорию религии, автор описывает подробно, как вырождается, но его мнению, религиозное чувство из науки, и как, проходя через призму воображения, оно расчленяется в нравственном существе человека в форму тройкой религии: религию природы, религию человечества и религию красоты.

В этой книге, написанной с талантом и одушевлением, высказано, хотя к первый раз с такой полнотой, далеко не новое учение; читатель встречает в нем знакомые черты столь модного в наше время позитивизма, черты,— знакомые по сочинениям Канта, Джорджа Эллиота и столь излюбленного у русских переводчиков Герберта Спенсера. Ни в одном из помянутых сочинений не обличается так явственно внутреннее бессилие этой модной теории, как в книге «*Natural Religion*». До какого безумия может договориться ум, когда, увлекаемый гордостью самообожания, отвергает *сверхъестественное* в жизни и вселенной, и принимается строить свою теорию жизни в ее отношениях ко вселенной. Эта теория осуждена вертеться в заколдованном кругу и сама себе, противоречит. Упраздняя личного Бога, она пытается удержать' религию, и 'напрасно пытается установить предмет религиозного чувства, ибо кроме живого Бога нет предмета для религии. Отвергая невидимый мир, бессмертие души и будущую жизнь, она полагает, однако, целью жизни счастье и напрасно пытается ограничить его пределами материи и земного бытия. Называя откровение выдумкой, или мечтою, и всякий догмат ложью, она сама, однако, ищет опоры себе не в ином чем, как в новом догмате, выставляя, в виде аксиомы, в которую должно верить, неперемный и бесконечный прогресс человечества.

Эта теория как раз отражает в себе то *своеволие* и гордое упорство мысли, которое наш автор соединяет в своем понятии с атеизмом. В ней не видно той цельной и ясной *уверенности*, которая служит признаком истины и прочности учения. Проповедники ее — в своей проповеди о счастье человечества — все спотыкаются на действительности, которой не могут отрицать. Эта действительность есть неотвратимое присутствие *зла* и *действия*, насилия и неправды в человеческой жизни — аргумент *пессимизма*. Этого аргумента нельзя утаить; одни из апостолов позитивизма стараются подавить и за глушить его, или лицемерно обходят его молчанием; другие, более добросовестные, останавливаются перед ним с грустью и сомнением. К числу последних относится и наш автор. Прославляя новую, проповедуемую им религию природы, человечества и красоты, доказывая всю силу и действенность соединяемого с нею религиозного культа, он в то же время говорит: «Едва начинаем мы успокаиваться на той мысли, что все познаваемое и естественное довлеет для человеческой жизни, как поднимает свою голову пессимизм и приводит нас в смущение». «Если бы не пессимизм, — замечает он в другом месте,— ничто не смущало бы нашего религиозного поклонения». И в самом конце книги, построив свое здание, говорит он такие речи:

«Чем далее расширяются и углубляются наши мысли по мере того, как вселенная объемлет нас и мы привыкаем к бесконечности, в пространстве и времени, тем более поражает нас чувство собственного ничтожества, и мы от ужаса цепенеем — нравственный паралич овладевает нами. На время утешаем себя идеей самопожертвования, говорим: пускай я исчезну, буду думать о других. Но вот, скоро и другие становятся для нас столь же презрительными, как сами; все печали человеческие, заодно, кажется, не стоят того, чтобы облегчить их, счастье человеческое — даже высшее — представляется так бледно, что не

стоит заботиться о приращении. Весь мир нравственный сводится на одну точку; град духовной жизни, жилище святых — уходит вдаль и светится чуть-чуть заметной звездочкой. Добро и зло, правда и неправда кажутся бесконечно малыми, эфемерными величинами, а вечность и бесконечность остаются где-то вне нравственного мира. Чувство любви замирает и истощается в мире, где все доброе и все пребывающее — холодно, — истощается в своей собственной сознательной слабости и беспредметности. Сверхъестественная религия, — прибавляет автор тут же, — наполняет всю эту пустоту, связуя любовь и правду с вечностью. А если она потрясена, то к чему послужит естественная религия?»

Можно ли поверить, что эти слова написаны горячим проповедником естественной религии? Так-то серьезный ум способен запутаться в сотканной им же самим умственной сети.

Сущность всей этой книги, при всей умеренности тона, при всей искренности автора — безотрадный парадокс. Что различные мировоззрения — научное, художественное, гуманитарное, заключают в себе элементы религиозного чувства — это верно. Но они не заключают в себе элементов новой веры, новой церкви, а есть отдельные члены — *disjecta membra* -- того же христианского мировоззрения. Никакая религия невозможна без признания аксиоматических истин, недостижимых индуктивным путем. К таким аксиомам принадлежит бытие *личного* Божества, духовность души человеческой; отсюда вытекает с *у пер натурализм*, без которого немыслима никакая религия. Научные же истины (кроме математических) по существу своему условны, существуют сознательно лишь для людей ученых, и лишь *обманом* могут быть навязаны массам в форме догматической. Этот обман ныне и происходит... мы при нем присутствуем ежедневно.

Нетерпимость к чужой вере и к чужому мнению никогда еще не выражалась так решительно, как выражается в наше время, у проповедников радикальных и отрицательных учений: у них она неумолимая, жестокая, едкая, соединенная с ненавистью и презрением. Если вдуматься в отношение этих новых учителей к непризнаваемой ими вере, — оно окажется, может быть, еще ужаснее старинной религиозной нетерпимости, вызывавшей кровавые преследования за веру. В последнем случае преследование основывалось на безусловной же вере в истину безусловно существующую. Когда человек верует в данное положение, что оно *должно быть* истиной для всех, что на нем зиждется безусловное начало жизни и благо для всех и каждого, как магометанин верует в Коран, понятно, что такой человек считает своим долгом не только исповедовать открыто свое учение, но, в случае нужды, и насильно навязывать его другим. Но когда дело идет, все-таки, не более как о мнении, о предположении, хотя бы и наиболее вероятном для того, кто его вывел, — как понять фанатизм такого мнения, как понять, что проповедник его не признает и не допускает ни для себя, ни для других не только противоположного мнения, но даже сделки, хотя бы условной и временной, с противоположным мнением? Между тем, такое страстное отношение к своему мнению или к мнению своей школы составляет принадлежность всех отрицательных учений. Отвергая, как будто не бывшее и не сущее, всю предшествующую историю духовного развития в человечестве, не признавая ни за каким существующим издревле верованием и духовным состоянием — права на самостоятельное существование, не останавливаясь ни перед одной святыней личного верования, заключенного в душе человеческой, — они требуют для себя свободного входа во всякую душу и повсюду хотят водворить свою так называемую истину. Это называется у них верностью своим убеждениям. Один из представителей учения Конта и позитивистов (John Morley. *On Compromise*) говорит, напр., в своей книге, что первый долг всякого человека в отношении к себе самому и к человечеству — разрешать в душе своей вопрос: верует он или не верует в бытие Божие? Затем, если положим, он пришел к убеждению, что вера в Бога есть не что иное, как слепое и безумное суеверие, — долг его, самый священный, вторгаться с этим убеждением во всякую душу, пользоваться всяким случаем и поводом, чтобы передавать это убеждение — прежде всего родным и близким, а потом, если можно провести его в массу, — всюду выказывать его, и отвергать безусловно всякие явления и формы частного и общественного быта, в

которых прямо или косвенно выражается вера, противоположная этому убеждению... Такой образ действия — что же иное, как не страшное насилие над чужой совестью, и во имя чего? Во имя только своего личного мнения!

Не видать и не слышать ни любви, ни веры в этой бездне самолюбия! А без любви и веры нет истины. Какая разница — слышать голос старого, истинного учителя. Сколько веры и любви, сколько глубокого знания души человеческой в апостольском слове к Коринфянам о -том, как следует уважать человеческую совесть. Он знает, что есть истина, но и с этой истиной духовного ведения как осторожно велит он подступать к душе человеческой. Главное дело состоит в том, чтобы душа приняла и обняла новую для нее истину в *духе искренности и, правды*, без раздвоения, без разлада с собой, прямой цельной верой. Все, что не от веры - грех. И апостол учит сильных, знающих, чтоб они щадили совесть слабой братии в *самом, суеверии*, покуда душа не созрела еще до восприятия истины цельной верой.

Вы знаете,— говорит он,— что пища не поставит нас пред Богом: едим ли мы — не приобретаем, не едим ли — не лишаемся. Вы знаете, что идол — ничто, что ложный бог не существует вовсе, и потому вы со спокойной совестью покупаете на торгу и едите мясо, которое принесено было в жертву идолу. Но не у всех такое ведение: есть слабые, у которых может быть *идольская совесть*, для которых идол — есть еще нечто существующее, страшное и злое: для них есть такое мясо — значит приносить жертву идолу, и когда они видят, что вы едите его, их слабая совесть соблазняется, то есть, приходит в разлад, в раздвоение по предмету веры. Итак, чтобы не соблазнять совестью слабого брата, лучше не есть мяса веки. Апостол — проповедник *свободы* христианской, происходящей от уверенности, жертвует в этом случае *свободой* — охранению *совести*, потому что совесть для пего всего дороже.

Удивительно безумие, до которого доходят умные люди, взрослые в отчуждении от действительной жизни, и ослепленные гордой уверенностью в непогрешимости разума и логики. Обожание разума, отвратив их от положительной религии, доводит их, наконец, до ненависти ко всякому верованию в Единого Живого Бога. Но те из них, которые добро-совестны настолько, что не могут отвергать потребности в вере, заявляемой всем человечеством,— те, у кого ость еще сердце, по совсем иссушенное черствой логикой мысли,— допускают законность религиозного чувства в природе человеческой и пытаются удовлетворить его какой-то поной, или измышленной религией. Вот тут и приходится удивляться мечтательности планов, изобретаемых умами, по-видимому стремящимися изгнать все похожее на мечту из своих выводов и соображений. Штраус, в своем сочинении «О старой и ноной вере», отвергая христианство, говорит с энтузиазмом о религиозном чувстве, но предметом его и центром ставит вместо Живого Бога идею вселенной, так называемое: *Universnni*. В Лондоне появились в свет найденные но смерти Милля отрывочные мысли его о религии, под заглавием: «Три статьи о религии: Природа, Польза религии и Деизм». Пользу религии он признает несомненно, но отвергает христианство, хотя выражается о лице Христа с величайшим энтузиазмом. «Не возможно, - говорит он, оспаривать великое значение религии для отдельного человека: это источник личного удовлетворения и высокого духовного настроения для каждого. Но спрашивается, для достижения этого блага необходимо ли переступить за границы обитаемого нами мира, или и без того одна идеализация нашей земной жизни, одно возбуждение и развитие высших о ней представлений могут создать для нас поэзию, и даже в высшем смысле этого слова, религию, такую, которая была бы способна возвышать чувства наши и могла бы (с помощью воспитания) еще лучше, чем вера в существа невидимые, благородить наше существование и деятельность?»

Вопрос, достойный Милля, каким мы его знаем по истории его воспитания. Любопытно, как же он решает этот вопрос. Милль не мог искать решения, подобно Штраусу, в идее вселенной; не мог потому, что Милль, странно сказать, не верует в природу; в начале той же книги он, верный, как всегда, отчуждению своему от жизни, входит в исследование: «насколько верно то учение, которое полагает в природе мерило правды и неправды, добро и

зло, и руководственным началом для человека ставит сообразование с природой или подражание природе». Этого учения Милль не признает, потому что в природе видит слепую силу, и ничего более. Она внушает желания, которых не удовлетворяет, воздвигает великие дарования, силы и дела с тем, чтоб в одно мгновение сокрушить их,— словом сказать, разоряет в миг, слепо и случайно, все, что ею самой создано. Оттого Милль отказывается строить на природе какую бы то ни было систему нравственности или религии.

Что же придумывает Милль? Вот подлинные слова его: «Когда представим себе, до какого сильного и глубокого чувства может достигнуть, при благоприятных условиях воспитания, любовь к отечеству, нам станет понятно, что очень возможно и любовь к обширнейшему отечеству, то есть, к целому миру, довести до подобной же силы развития и обратить ее в источник высших духовных ощущений и в начало долга. Кто желает ознакомиться с понятиями древности об этом предмете, пусть читает Цицеронову книгу: *De officiis*. Нельзя сказать, чтобы мера нравственности, устанавливаемая в этом знаменитом рассуждении, была очень высокая. По нашим понятиям, эта нравственность во многих случаях очень слабая и допускающая сделки с совестью. Но относительно одного предмета — относительно долга к отечеству — не допускает она никакой сделки. Чтобы человек, имеющий хотя малую претензию на добродетель, на минуту призадумался пожертвовать отечеству жизнью, честью, семейством — всем, что ему дорого на свете, этого не допускал и в предположении славный проповедник греческой и римской нравственности. И так история показывает, что людям можно было привить воспитанием не только теоретическое убеждение в том, что благо отечества должно быть выше всяких иных соображений, но и практическое сознание, что в этом состоит величайший долг жизни. Если это было возможно, то почему же нельзя внушить им чувство точно такого же безусловного долга относительно общего блага для целого мира? Такая нравственность в натуре высоко одаренной почерпала бы силу из чувства симпатии, благоволения, восторженного одушевления идеальным величием, а в натурах низшей организации — из тех же чувств, по мере природного их развития, да притом еще из чувства стыда. Эта высокая нравственность не зависела бы нисколько от надежды на награду. Единственной наградой, которую имели бы в виду, и мысль о коей служила бы утешением в печали и опорой в минуты слабости,— единственной наградой было бы не сомнительное загробное бытие (!),— но в этой жизни одобрение всех уважаемых нами людей и, в идеальном смысле, одобрение всех, как живых, так и умерших людей, кого мы чествуем и кого похваливаем. Действительно, та мысль, что дело наше одобрили бы умершие друзья и родные наши, когда бы были живы, способна одушевить нас не менее, чем мысль об одобрении современников... Сколько раз люди высокого духа одушевлялись к делу мыслью о том, что им сочувствовал бы Сократ, Говард, Вашингтон, Антонин. Если такое настроение духа назовем просто нравственным, слово это будет недостаточно. Оно есть действительно — *религия*: добрые дела составляют только часть религии, плоды ее, но не самую религию. Сущность религии состоит в крепком и серьезном направлении чувств и желаний к идеальной цели, превосходящей все личные цели и желания. Это условие осуществляется в религии *гуманности* точно так же, как и в сверхъестественных религиях: я убежден даже, что осуществляется еще лучше и совершеннее»...

Приведенные слова сами за себя говорят. Они показывают всю близорукость,— лучше сказать — все безумие человеческой мудрости, когда она хочет делать отвлеченную конструкцию жизни и человека, не справляясь с жизнью и не зная души человеческой.

Такая религия, какую воображает Милль, может быть, пожалуй, достаточна для подобных ему мыслителей, заключивших себя от всего мира в скорлупу отвлеченного мышления; но разве может принять ее и понять ее народ,— живой организм,— объединяющийся только живым чувством и сознанием, а не мертвым и отвлеченным началом? В народе такая религия, если б могла быть введена когда-либо, оказалась бы поворотом к язычеству. Народ, который нельзя себе представить в отделении от природы, - если б мог позабыть веру отцов своих,— снова олицетворил бы для себя как идею — вселенную, разбив

ее па отдельные силы, или то человечество, которое ставят ему в виде связующего духовного начала, разбив его на представителей силы духовной,— и явились бы только вновь многие лживые боги вместо единого Бога истинного... Неужели этому суждено еще сбыться?!